



КОНСТАНТИН ПОПОВСКИЙ

Монастырек и его окрестности...

Пушкиногорский патерик

16+

Константин Маркович Поповский

Монастырек и его окрестности...

Пушкиногорский патерик

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=35375945

SelfPub; 2020

ISBN 978-5-532-11376-3

Аннотация

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радуется и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогуший благословил день шестой. Все прочее, положив руку на сердце, сомнительно и недостоверно.

Содержание

Вместо предисловия	6
1. Ночь	14
2. Келья	21
3. О том, что жизнь православного монаха не может быть безопасной даже во сне	28
4. Сонные радости отца Иова	37
5. Сны монастырской братии	41
6. Сон отца Павла	47
7. Пару слов об архимандрите Кенсорине	50
8. Явление	55
9. Враги человеку домашние его	69
10. Начало бедствий	75
11. Вешенки или о том, что в Царстве Небесном, возможно, обходятся без денег!	81
12. Шашка отца Иова	88
13. Наставление больному	95
14. Небольшой штрих к характеру наместника	98
15. Мелочи из жизни келейника Маркелла	102
16. Чем может быть чревато желание путешествовать	111
17. Ярмарка	116
18. Валя Бутрина	123
19. Первое явление отца Фалафеля и Сергея-	134

пасечника	
20. Ярмарка и ее посетители	142
21. Конфуз	150
22. Краткая история отца Иова	158
23. Кое-что еще про отца Иова	165
24. Отец Илларион	168
25. Под горячую руку	196
26. Краткое замечание о природе терроризма	200
27. Видение отца Фалафеля	203
Конец ознакомительного фрагмента.	205

Константин Поповский

Монастырек и его окрестности...

Пушкиногорский патерик

«Настоящий смех, амбивалентный и универсальный, не отрицает серьезности, а очищает и восполняет ее. Очищает от догматизма, односторонности, окостенелости, от фанатизма и категоричности, от элементов страха или устрашения, от дидактизма, от наивности и иллюзий, от дурной одноплановости и однозначности, от глупой истоинности. Смех не дает серьезности застыть и оторваться от незавершимой целостности бытия. Он восстанавливает эту амбивалентную целостность»

М. М. Бахтин «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1965)

Вместо предисловия

История, которую я собираюсь здесь рассказать, произошла прошлым летом в Свято-Успенском мужском монастыре, что в поселке Пушкинские Горы.

Прогуливаясь как-то по монастырской аллее в ожидании окончания вечерней службы, я вдруг услышал за близким поворотом дороги какой-то странный шум. Словно ссорились два человека – один с голосом тонким и нервным, похожим на приступ астматика – и второй, с голосом грубым и неделикатным, напоминающим, в свою очередь, шум дождя, который с утра барабанит по лужам.

Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я зашел за куст сирени и осторожно выглянул.

Открывшееся зрелище удвоило мое любопытство.

Посреди тенистой аллеи стояли два неизвестных мне монаха, которые были заняты тем, что пытались отобрать друг у друга объемистую кожаную папку. Вцепившись в неё, они лихо перебирали ногами, тяжело дышали и грозно сверкали стеклами очков.

Монахи эти – как я успел заметить – были совершенные противоположности друг другу. Один – ухоженный блондин – был мордат, широк в плечах и сравнительно еще молод, да к тому же распространял вокруг себя нежный запах дорогого

мужского одеколона, – зато другой монах, маленький и плотный – мог бы вполне иллюстрировать слова Александра Ивановича Куприна, сказавшего, как известно – «Бедность не порок, а большое свинство» – и слова эти, как нельзя лучше, объясняли и потертый, неопределенного цвета подрясник, и засаленную скуфейку, и разбитые штиблеты, которые, похоже, носило не одно поколение пушкиногорских монахов, и рабочую куртку без пуговиц, явно и недвусмысленно намекавшую, что еще в позапрошлом году ее хозяин собирался курточку простирнуть, да так эту затею и оставил.

Между тем противостояние двух этих духовных лиц продолжалось. Удары и толчки сыпались с обеих сторон, становясь все болезненней, а сил, судя по всему, оставалось все меньше и меньше.

«Отдай по-хорошему», – говорил ухоженный монах, дергая папку и одновременно пытаясь отдалить своему противнику ногу.

«Как же – отдай, – отвечал тот, норовя стукнуть своего брата-монаха коленом. – Вам отдашь, так потом, извиняюсь, костей не соберешь».

«А потому что не надо чужого брать, – наставительно ворчал ухоженный, наступая на противника. – Ишь, взяли себе манеру брать то, что не для них писано!»

«Вас спросить забыли, – отвечал невысокий, тесня, в свою очередь, своего собрата. – Вот уж Господь узнает про все ваши подвиги, да и покажет вам дулю, чтобы впредь неповадно

было, вот тогда и запляшете».

При упоминании имени Господа, оба монаха быстро перекрестились, не выпуская из рук кожаную папку, и вновь принялись тузить друг друга, тяжело дыша, всхлипывая и быстро вытирая со лба пот. И все, возможно, было бы не так уж плохо, но в этот самый момент папка вдруг щелкнула, вырвалась из рук монахов и, взлетев над их головами, раскрылась, словно большая птица.

Немедленно вслед за этим вся аллея словно вскипела от огромного количества вывалившихся из папки бумаг, так что мне показалось вдруг, будто дневной свет стал меркнуть. К счастью, ненадолго.

В то самое мгновение, когда папка раскрылась, дерущиеся монахи обнаружили, что они в аллее далеко не одни. Это открытие немедленно повергло их в изумление, а затем в ужас, и они бросились, не разбирая дороги, прочь и мгновенно исчезли, оставив после себя падавшие с небес листки, которые – странное дело! – не достигали земли, но таяли, словно были слеплены из снега.

Одну такую бумажку я успел поймать, прежде чем она растаяла. Пустую же папку для бумаг поднял с земли и сунул ее подмышку, надеясь, что все случившееся со мной рано или поздно объяснится какой-нибудь высокой духовной и все понимающей инстанцией.

Вечером, после службы, я слегка пришел в себя и, на-

бравшись смелости, попросил отца Ферапонта уделить мне немного времени, после чего подробно рассказал ему свое утреннее приключение.

Выслушав меня, отец Ферапонт долго молчал, меря свою келью шагами из угла в угол, потом долго смотрел в окно, где трудники курили, сидя на досках и, наконец, приступил к нашей теме, обозначив ее начало легким покашливаем.

«Наверное, ты думаешь, что видел сегодня двух полоумных монахов, которые что-то не поделили, – сказал отец Ферапонт, усаживаясь в кресло и приглашая присесть меня. – Но в действительности ты видел столкновение и противоборство двух потусторонних сил, одна из которых носит имя архистратига Михаила, а у другой было столько имен, что мы давно уже зовем его просто *Безымянным*. Впрочем, если хочешь, то можешь звать его *Сатаном*

И вот что отец Ферапонт рассказал.

Много столетий назад, когда Всемогущий еще только обустроивал эту, еще совсем молодую землю, пред его светлые очи предстали два нижайших просителя – *Михаил* архистратиг и *Сатан*, прозванный *Безымянным*

Оба они держались за желтую кожаную папку и время от времени искоса поглядывали друг на друга, словно опасаясь, что их сосед вдруг даст деру или начнет обличать тебя перед лицом Господним, не давая высказать и слова.

Между тем Господь уселся рядом с троном на приступочек, закинул ногу за ногу и произнес:

«А вы, я гляжу, все еще мордобои устраиваете. Стыдно, однако. Не дети. Мы пример должны показывать окружающим, а не наоборот... Зачем вас в монастырь-то понесло, олухи?»

«Виноват, – сказал Архистратиг. – Больше не повторится».

«Истинная правда», – поддакнул Сатан и для вящей убедительности даже слегка подпрыгнул.

«А сюда зачем?.. Или Я вас звал?» – продолжал Господь, делая вид, что ничего не помнит.

«Вот, – сказал Архистратиг, махая папкой. – Думал, может, нужна кому».

«Ах, вот оно что!.. – усмехнулся Господь. – А я как раз подумал, куда это она запропастилась-то. Давненько ее не было. А она оказывается вот где...»

«Я нашел, – сказал Архистратиг, выступая вперед и улыбаясь. – Прямо в Стиксе плавала, возле берега».

«И я, – сказал Сатан, пытаясь незаметно отодвинуть плечом улыбающегося соседа. – На скамейке лежала, возле фонтана».

«Вот, значит, как. На скамейке», – зевнул Господь, затем быстро перекрестил рот и сказал:

«Вы в следующий раз заранее договаривайтесь, на скамейке там или у берега. А то неудобно получается».

«Виноват, – Архистратиг незаметно погрозил Сатану кулаком. – Больше не повторится».

«Мамой клянусь», – сказал Сатан и скорчил Архистратигу рожу.

Господь, между тем, откашлялся и спросил:

«Надеюсь, вы ее хоть не открывали?»

«Как можно? – Архистратиг сделал возмущенное лицо. – Чужая вещь».

«Совершенно чужая», – подтвердил Сатан.

«Вот в том-то и дело, что чужая, – без особого восторга сообщал Господь, рассматривая папку. – Была бы своя, так все, наверное, было бы попроще».

«Непременно так и было бы», – поддакнул Архистратиг и, чуть помедлив, немного смущаясь, спросил, сколько и чего ему полагается за то, что он принес папку.

«И мне», – сказал Сатан, тоже слегка смущаясь.

«Да, ничего, – Господь, похоже, начал сердиться. – Или вы про эту папку первый раз слышите?.. Так я могу вам напомнить, при случае».

И Он действительно напомнил, как много лет назад возле священного трона была найдена неизвестно откуда взявшаяся кожаная папка для бумаг, которую до этого видели то там, то здесь, хоть при этом никто и никогда не признавал себя ее возможным хозяином. Даже Господь поначалу только пожал плечами, когда Ему показали эту странную находку и попросили разъяснить, что она значит. Разъяснять Господь ничего, конечно, не стал, а вместо этого пустился приводить совершенно отвлеченные примеры, отчего вся трава в окрестно-

стях скоро пожухла и умерла. Впрочем, Господь наш не был бы Господом, если бы не добавил к этому еще некоторые, не совсем уместные, соображения, главное из которых заключалось в том, что насельникам Царства Небесного следовало бы почаще обращать внимание на Всемогущего и поменьше болтать с ангелами небесными, которые только и умеют, что точить лясы, да чистить перья на крыльях.

Что же касается папки, то тут Господь настоятельно рекомендовал не открывать ее ни при каких обстоятельствах, к тому же никто по-прежнему ничего не знал о том, что скрывается под этой загадочной и, на первый взгляд, вполне мирной вещью.

– Тем более, – предостерегал Господь, – что это папка время от времени открывается сама, являя миру какие-нибудь нелепые чудеса – щипчики для орехов, Троянскую войну, билеты на ангельскую оперу или, на худой конец, ключи от Царства Небесного, которые в последнее время приобрели большую популярность.

В тот вечер, возвращаясь от отца Ферапонта, я твердо решил ни в коем случае не открывать эту сомнительную папку, которая, похоже, сама не слишком отчетливо знала, чего она хочет. Но чем ближе стрелки часов двигались к двенадцати, тем тревожнее становилось у меня на душе, и тем сомнительнее казалась мне моя уверенность в необходимости держать эту загадочную папку закрытой. Множество вопро-

сов теснилось в моей голове, тогда как ответов не было ни на один из них. И тогда я решился.

Я осторожно подошел к лежащей на столе папке, и протянул руку.

– Не открывай, – сказал внутри чей-то голос.

Но было поздно.

Папка щелкнула и раскрылась...

1. Ночь

Что бы там ни говорили, а ночь в ту пятницу выдалась, хоть святых выноси.

Сначала захрипел, застонал и заухал в своей келии отец Тимофей, признанный мастер храпа и бессознательного бормотания, когда потаенные скрепы в человеке ослабевают под влиянием сна и язык начинает вытворять бог знает что, к соблазну тех, кому это удалось услышать.

Захрапев же, отец Тимофей на этот раз сумел не только ухать и стонать, но еще и засвистел к тому же, и притом каким-то двойным свистом, переливчатым и игривым, от которого отцу Иову, лежащему за стеной, стал сниться совершенно непристойный сон, от которого он скоро и проснулся, а проснувшись же, долго таращился в темноту, слушая, как играет за стеной храп-оркестр отца Тимофея.

Потом отец Иов спустил со своего монашеского ложа ноги, надел тапки и зажег пред Спасителем погасшую лампадку. Затем он накинул на себя подрясник и вышел в общий коридор, надеясь никого не встретить.

Так оно и вышло. Толкнув тяжелую входную дверь, отец Иов вышел на крыльцо и остановился, с удовольствием вдохнув прохладного свежего воздуха.

Слабый ветер гулял наверху, в кронах старых тополей, ко-

торые давно уже было пора срубить, не дожидаясь, когда они упадут сами и сломают крышу братского корпуса. Сквозь листву были видны неяркие звезды, да еще тонкий полумесяц, действительно похожий на серп, как он был много раз описан в классической и не очень классической литературе.

Ночь смотрела на отца Иова едва заметным свечением медного купола, неярким светом, идущим из пристройки, где сидела охрана, белыми стенами Братского корпуса и сверкающими в лунном свете камешками кварца, которые легко можно было посчитать за осколки стекла. И от этого взгляда отчего-то в затылке его забились, зашевелились вдруг какие-то мысли, которых не было прежде.

Мысли эти были путаны и невнятные. Но вдруг одна из них, словно большая рыба, вынырнула из глубины и, оттеснив все прочие, стала тревожно бить хвостом по воде, заставляя прислушаться к себе и ответить.

Мысль эта была мыслью о смерти. Умирать, ничего не исправив в жизни и не исправившись самому, было страшно. «Господи, помилуй», – прошептал отец Иов и быстро перекрестился. Смерть была отвратительна, неуместна и уж, во всяком случае, никак не входила в его планы, что, впрочем, не мешало этой неуместной смерти соблюдать все же в мире некоторый порядок, так что если бы помер, допустим, отец Нектарий или отец Павел, то этому событию, поискав, можно было бы найти сколько угодно серьезных объяснений, тогда как если бы помер вдруг вечный послушник Цветков, то

тут и объяснять ничего бы не пришлось, потому что какие, в самом деле, могли быть объяснения в отношении человека, который прославился тем, что швырял в отца наместника табуреткой, да еще грязно ругался, так что пришлось срочно вызывать милицию? Другое дело, размышлял Иов, если бы помер, например, он, отец Иов, да при этом еще в самом расцвете сил и к тому же при исполнении должности монастырского духовника, скоропостижная утрата которого поставила бы весь монастырь в весьма неприятное, если не сказать, чреватое положение, так что для объяснения этого не хватило бы и всех библиотек мира, потому что объяснить это было бы совершенно невозможно и немыслимо.

Мысль эта показалась почему-то отцу Иову настолько утешительной, что он тут же забыл все прочие мысли, связанные с мыслями о смерти, и принялся думать о чем-то совершенно другом. Возвращаться в келью не хотелось, и он решил еще немного постоять под этим сияющим серпиком, в этой завораживающей тишине, которой почему-то никогда не случается суетливым, галдящим днем. Тем более, отметил про себя отец Иов, что какие-то настырные мысли снова принялись вдруг шуметь в его голове, требуя от него внимания и сосредоточенности.

«Допустим, – говорил себе отец Иов, глядя на то, как резвятся в свете лампы ночные мотыльки и одновременно нащупывая в боковом карманчике выпавший третьего дня зуб, – допустим, зуб. Разве же зуб – это я?»

«Ясно, что не ты», – сказал прямо ему в уши какой-то незнакомый голос.

«А раз не я, – говорил отец Иов, – то может, я тогда что-нибудь другое?.. Нога или, допустим, язык?»

«Ну, ты и скажешь», – сказал голос, впрочем, слегка насмешливо.

«Вот и я так думаю, – продолжал отец Иов, морща лоб. – Получается, что я и не то, и не это. И кто же я тогда?»

«Да кто тебя знает», – равнодушно отозвался голос и сладко зевнув, смолк.

«А может я – это просто душа?» – помедлив, подсказал голосу отец Иов. Но тот в ответ ничего не сказал и еще раз зевнул, причем на этот раз он зевал с каким-то придыханием, причмокиванием и посвистом, от которых отцу Иову вдруг стало обидно и показалось, что кто-то большой и сильный смотрит на него насмешливо из темноты да при этом показывает на него пальцем, отобрав у него право знать, кто же он все-таки такой, этот отец Иов, так что ему приходилось теперь всячески изворачиваться и хитрить, чтобы кто-нибудь не догадался, что он не знает такой простой вещи, хотя, чтобы знать это, вполне достаточно было ознакомиться с его документами, которые лежали в шкафчике у отца наместника и из которых следовало, что в святую обитель отец Иов прибыл из одного южнорусского города, сам же он происходил из семьи обрусевших казаков, от которых казачьего давно уже не осталось ничего, так что, как ни крути, а все равно

получалось, что был отец Иов ни то, ни се, — ни шашку вытащить, ни меткое слово сказать, — одним словом, одно сплошное недоразумение, в котором пряталась до поры до времени какая-то немалая обида, чей-то недосмотр, чье-то разгильдяйство или даже, в какой-то мере, чей-то саботаж, от чего вдруг запершило у отца Иова в горле, и слезы навернулись на глаза, и захотелось тот же час, не откладывая, ударить размашисто в этот медный колокол, который висел у двери в Братский корпус, и бить в него изо всех сил, пока не соберутся, позевывая и почесываясь, все эти сонные монахи, все эти великие грешники, которым он, отец Иов, немедленно открыл бы глаза на их собственную несправедливость, невежество и душевную черствость, от которой нет иного спасения, кроме усиленного поста и молитвы.

Ах, как бы он обрушил на их головы свой праведный гнев! Как бы вернул их прочь от самодовольства и самообмана к ужасу последнего пробуждения, пробирающего до костей и не оставляющего грешнику никакой лазейки.

Какие бы слова он нашел — эти вгоняющие в краску, обжигающие, пылающие слова, от которых перехватывало дыхание и будущее вдруг становилось близким и понятным.

Как бы весело он рубился с силами зла старой прадедушкиной казацкой шашкой, не оставляя Дьяволу и иже с ним не малейшего шанса остаться живым, устыдив попутно их ничегонеделанием и отца наместника, и отца благочинного.

Что уж тут говорить о том, как рукоплескала бы ему вос-

хищенная братия, отирая ему пот со лба и удивляясь его бесстрашию!

«Но-о, лошадка! – сказал отец Иов, почувствовав вдруг себя во главе святого войска, на белом жеребце, который танцевал под ним, готовый понести своего всадника в самую гущу битвы. – Но-о, милый!»

«Ты бы еще хоругвь захватил», – сказал голос, прекращая фантазии отца Иова.

«А причем здесь хоругвь-то? – пробормотал отец Иов, чувствуя, как краска заливает ему лицо и дыхание становится прерывистым и неровным. – Я ведь не для того это говорю, чтобы себя показать...»

«А для чего же?» – перебил насмешливо голос и негромко захихикал.

«Пример должен быть, вот для чего, – сказал отец Иов, радуясь, что нашел нужные слова. – Без примера куда?»

«Это ты, что ли, пример?» – спросил голос и опять захихикал.

«А хоть бы и я, – сказал отец Иов, чувствуя, что его несет совсем не туда, куда бы следовало. – Бог найдет для себя пример, уж можешь не сомневаться».

Но голос, похоже, и не думал сомневаться. Он просветлел в ответ какую-то разбойничью песенку, потом зашумел в кроне старых лип и исчез.

«Эй, – негромко позвал Иов, чувствуя, что остался один. – Эй, уважаемый!.. Вы где?»

Но уважаемый не откликнулся.

«Вот так всегда», – посетовал отец Иов, чувствуя, что обида вот-вот готова снова подкатить к самому его горлу.

Потом он поежился от налетевшего вдруг прохладного ночного ветерка и, посмотрев еще раз на висящий над монастырем серпик, отправился в свою келию, сотрясаемую могучим храпом отца Тимофея.

2. Келья

Кельи, как и люди их занимающие, бывают разные. Келья отца Иова поражала всех, кто когда-нибудь имел счастье ее посетить, удивительной чистотой и множеством вещей и вещиц, которые были по порядку расставлены на полочках, столе и подоконнике: все эти керамические и медные колокольчики всевозможных размеров, глиняные фигурки святых, подобранные по цвету и размеру книжки, целый Монблан маленьких иконок, большой иконостас застекленных икон, перед которыми мерцали разноцветного стекла лампадки, аккуратно торчащие из вазочки карандаши, кисточки, ручки; изящные календарики, целая гора компьютерных дисков, тоже расставленных не абы как, а по цвету, какие-то альбомы, тетради, блокнотики, и ко всему этому еще множество новогодних, рождественских и пасхальных открыток, старинных подсвечников, пасхальных яиц; фотографий и репродукций, развешанных по стенам с соблюдением правил гармонии и порядка.

Ко всему прочему на стене у окна висел плакат, изображавший суровую женщину в платке. Женщина смотрела на тебя требовательно и властно, вытянув перед собой руку и направив на тебя указательный палец, тогда как другая рука ее, показывая на небо, где, облокотившись на облако, Все-

могущий Бог-Отец благословлял хороших христиан в белых одеждах и одновременно посылал во тьму внешнюю всех, кто не исполнял божьих заповедей и не слушал божьих повелений. Надпись на плакате гласила: «А ты веруешь ли во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли?»

Всякий раз, когда отцу Фалафелю случалось попасть в келью отца Иова, он почему-то непременно встречался глазами с взглядом этой суровой женщины и опускал глаза, чувствуя в груди какую-то неловкость, словно эта женщина была на самом деле мужчиной, а женщиной она только прикидывалась из каких-то своих, недоступных простым смертным соображений.

Плакаты эти, к слову сказать, штамповали умельцы из Софрино, причем их продукция пользовалась огромным успехом не только у православных, что и не удивительно, но даже и у католиков, которые заклеивали на этих плакатах имя святого или святой, а затем клеивали имя какого-нибудь католического еретика, превращая душеспасительную вещь в ни на что не годное место, где царили мерзости и запустения. Так, например, если на плакате была изображена Ольга Первозванная, то католики быстренько заклеивали ее имя, а вместо него писали имя какой-нибудь Марии Перлуптранской, прославившей себя тем, что работала когда-то в Африке вместе с доктором Швейцером, или имя всем известной Эзопии Пуланской из Милана, покровительницы домашних животных, полагающей, что, будучи безгрешными,

собаки и кошки имеют больше шансов проскользнуть в Царство небесное и вымолить у Господа прощение своим нерадивым хозяевам, чем кто-нибудь другой...

Одна беда была с этими вещами и вещицами. Дело в том, что их становилось все больше и больше, а келья, напротив, почему-то больше не становилась, а делалась, с поступлением новых вещей, все меньше и меньше. Даже отец Нектарий, зайдя как-то раз к отцу Иову, спросил его, с некоторым удивлением рассматривая все эти колокольчики, подсвечники и фигурки святых, не собирается ли отец духовник открыть в монастыре небольшую лавку духовных товаров, на что отец Иов немного смущенно сказал, что во всем виноваты прихожане, которые, не зная меры, бесконечно несут ему, отцу Иову, разную ненужную ерунду.

«Вот мне почему-то не несут, – с затаенной обидой заметил отец Нектарий, взяв напоследок изящный медный колокольчик и красивый, в кожаном переплете, блокнотик, служащий одновременно и для каждодневных заметок, и для записи телефонных номеров.

Именно в ту самую ночь и приснился отцу Иову страшный сон, в котором он сумел перекричать самого отца Тимофея и напугать полкорпуса своим истошным криком.

А снились ему вся та же его келья и все тот же отец наместник, по лицу которого бродила какая-то еще не вполне определенная мысль, которая все никак не могла определиться, отчего отец наместник явно нервничал, размахивая

руками и шагая из одного угла келии в другой. При этом он еще умудрялся разглядывать все эти статуэточки и колокольчики, вертя головой или даже дотрагиваясь до какой-нибудь вещицы, издавая при этом какие-нибудь интересные звуки вроде причмокивания, присвистывая и похмыкивания, что напоминало отцу Иову ту простую истину, что размахивание руками до добра обычно не доводит, в чем он немедленно и убедился, увидев, как, задетый рукой отца наместника, полетел на пол изящный фарфоровый подсвечник. А вслед за тем, исторгнув из груди Иова крик горя и отчаянья, упала на пол полочка со стеклянными фигурками Моисея, Иисуса и апостола Павла!

«Батюшка, батюшка! – говорил отец Иов, стараясь оттеснить отца Нектария от шкафчика, за стеклом которого поблескивали медные и керамические колокольчики всевозможных размеров. – Пощади, батюшка, не дай сгинуть нажитому!»

«Не бойсь, не бойсь, – говорил отец наместник, изо всех сил наваливаясь на шкафчик. – Новых приобретем, еще лучше этих будут!»

«Где же лучше-то, где же лучше?» – бормотал отец Иов, с ужасом глядя, как разбивается набор кофейных чашечек с православной символикой. Осколки их медленно взлетели к потолку и, сверкая под электрическим светом, так же медленно и печально рассыпались по келии.

Затем пришла очередь коллекции музыкальных дисков,

которые разлетелись по келии, сверкая и треща под ногами отца наместника, похоже, получавшего большое удовольствие от всех этих ужасных звуков, которыми сопровождались эти кошмарные деяния.

«Ой!» – вздрагивал отец Иов, слыша, как трещат под ногами наместника гипсовые ангелочки и фарфоровые блюдечки.

«Ой!» – мычал он, слыша как превращаются в ничто расписные новгородские колокольчики и ломаются всевозможные свечи, привезенные почти из всех стран, включая и такие, которые почти невозможно было отыскать на приличной карте мира.

«Ой, ей, ей», – рыдал отец Иов над всей этой погибшей красотой: над всеми этими горшочками, альбомами, серебряными стаканчиками, карандашиками и ножами для разрезания бумаги; а рыдая, рвал на себе подрясник и раскачивался из стороны в сторону, когда же сердечных сил его уже не осталось совсем, то он не выдержал и закричал что есть силы, не жалея своих легких и надеясь, что Небеса не оставят ни его, ни его поверженные богатства. И от этого крика пробудился за стеной отец Тимофей, и задрожали окна в коридоре Братского корпуса, и стая разбуженных ворон поднялась в ночное небо с хриплым карканьем над спящим монастырем, тогда как ужасный крик отца Иова, вырвавшись из замкнутого пространства монастырского двора, устремился туда, к звездным далям, где у божественного Престола суе-

тились всякого рода просители и жалобщики, ожидая своей очереди возложить на Господа заботы о собственных печалях и попечениях.

Так оно, в результате, получилось и с отцом Иовом.

«Отец Иов, – сказал вдруг рядом с ним чей-то мягкий голос, – мужайся. Сейчас Господь выслушает тебя и не оставит без утешения».

«Вот уж спасибо, так спасибо, – сказал, растерявшись, отец Иов, не зная, что сказать. – Благодарствую. А то прямо все ноги себе оттоптал с непривычки-то».

Он хотел было добавить и еще что-нибудь, но почему-то постеснялся. Тем более что очередь его вдруг как-то быстро подошла, и Господь собственной персоной уже шагал к нему, размахивая руками и приветливо улыбаясь, так, словно был ужасно рад их встрече, предвкушая от нее приятный и полезный разговор.

«Что хочешь, чадо? – сказал Господь, остановившись рядом с Иовом и сразу переключившись на деловой тон. – Может, в Царствие Небесное желаешь? Тогда это подождать надо. Царство наше позволяет, но все же лучше будет, чтобы во всем был порядок соблюден... Верно, касатик?»

«Будь милостив, Господи, – сказал Иов, чувствуя, что решительный час его жизни пробил. – Повели моим колокольчикам и всему остальному, что погибло нынешней ночью, вернуться немедленно в первоизданное состояние, то есть, стать как было».

«Колокольчики? – не понял поначалу Господь, морща лоб и с недоумением глядя на отца Иова. – Ах, колокольчики, вот оно что!»

«Так точно, – подтвердил отец Иов. – Они самые».

«Ну, ты и фрукт, – засмеялся Господь и даже слегка ударил отца Иова по плечу. – Хочешь, наверное, чтобы я вернул тебе твои богатства, сынок?»

«Хочу, – торопливо сказал Иов, опасаясь, что Господь возьмет и передумает. – Это ведь красота-то какая пропадает, Господи!»

«Ладно, будут тебе твои колокольчики, – сказал Господь, немного подумав. – Больше ничего не желаешь?»

«Куда уж тут больше-то», – пробормотал отец Иов, чувствуя, как радость начинает заливать его грудь.

«Тогда лети, касатик, чего уж там, – сказал Господь, махнув рукой куда-то в сторону. – Ну? Чего ждешь-то?»

«Премного обязан, – сказал отец Иов, пятясь в темноту и чувствуя, что язык его говорит какую-то ерунду. – Вашими, так сказать, молитвами, отче».

«Лети, лети», – сказал Господь и даже слегка отца Иова подтолкнул.

И отец Иов полетел.

3. О том, что жизнь православного монаха не может быть безопасной даже во сне

Если бы кто сказал отцу Иову, что он ненавидит отца Тимофея просто потому, что завидует его многочисленным грехам, то отец Иов только бы посмеялся в ответ. А между тем, это была сушая правда и при этом такая, которая была понятна всем насельникам монастыря, – ибо что-то, а грехи в монастырских стенах весьма и весьма ценились, будучи чем-то вроде разменной монеты, за которую можно было получить твердую валюту в виде «милости Божьей» и даже без особого труда.

И верно. Ни для кого не было секретом, что, немного постаравшись, можно было легко заработать и благоволение Божье, и даже гарантированное спасение, благо, что в обменном пункте под названием «*Божье милосердие*» всегда находился какой-нибудь способ спасения – иногда с помощью поста, или с помощью усиленной молитвы, или с помощью земных поклонов, или с какой-нибудь еще помощью, обещая при этом выплатить со временем все, что человек вложил в это божественное предприятие и требуя от него всего лишь немного подождать.

Одним словом, чем больше грехов человек мог нести на своих плечах, тем милостивее становился Господь, охотно меняющий валюту своего милосердия на горы наших грехов. Если же грехов не было или они были так малозначительны, что вполне легко оказывались простительными, то по монастырским меркам это значило, что в наличии не было и раскаянья, а следовательно, вхождение в Царство небесное такого человека становилось весьма и весьма проблематичным, ибо всем монастырским было хорошо известно, что сам Господь вышел в свет, чтобы проповедовать покаяние, которое было совершенно невозможно без мало-мальски серьезных грехов.

Вот почему всякий раз, когда речь заходила об исповеди, отец Иов скучнел, бледнел и делался не в меру раздражительным, норовя при этом куда-нибудь поскорее улизнуть или просто запереться в своей келии, сделав вид, что его срочно вызвали по важным делам. Он даже духовника себе завел откуда-то издалека, чтобы не так часто бывать у него. И все равно, всякий раз, когда дело касалось исповеди, отец Иов чувствовал себя одиноким и обделенным, словно какой-нибудь никому не нужный мирянин, который не мог даже твердо сказать своему духовнику: «Грешен в нарушении такой-то заповеди, отче», а после заплакать от сладкого чувства раскаянья, когда духовник, потрепав его по плечу, сказал бы что-нибудь вроде «Ну будет, будет, отец», или «Бог-то тебя простит, главное, чтобы ты себе сам простил, чадо».

В действительности же все было далеко не так гладко, как хотелось бы. Совсем не так гладко, если положить руку на сердце. Просто отвратительно было, если разобраться.

«Грешен, батюшка, – говорил отец Иов, до последнего оттягивая свое признания. – Виноват».

«И чем же?» – спрашивал старец, ласково глядя на Иова.

«Да всем, отче, – отвечал отец Иов, сгорая от стыда. – Кричу много».

«Кричишь? – переспрашивал старец, делая серьезное лицо. – Это как понимать прикажешь, кричишь?»

«Да вот так. Случается, что и громко бывает».

«А ну-ка, покричи, – говорил старец, подбодряя отца Иова жестом. – Давай-ка, не стесняйся, милоч... Давай, давай, не робей».

В ответ отец Иов тужился, бледнел и краснел, но, кроме несильного «а-а-а-а», ничего особенного выдать из себя не сумел.

«Теперь я вижу, что ты великий грешник, – говорил старец, не сдерживая улыбки. – Прямо-таки Каин какой-то... И на кого же ты, скажи мне на милость, кричишь, милый?»

«А на всех», – говорил отец Иов, отводя глаза.

«Что ж, и на наместника тоже кричал?»

«Что же на него кричать, – говорил отец Иов, удивляясь непонятливости старца. – Он ведь все-таки наместник. Лицо ответственное. Кто на него будет кричать?»

«Резонно», – соглашался старец, наклоняя голову отца

Иова и накидывая на нее епитрахиль.

Когда же отцу Иову приходилось самому принимать таинство исповеди, то он тоже бледнел, сопел и вздыхал, но уже не потому, что ему нечего было сказать своему духовнику, а потому что с первой же минуты исповеди черная зависть к исповедующемуся и его грехам застила ему глаза. И тогда он начинал мечтать о том дне, когда он тоже придет однажды, склонившись перед своим духовным отцом, и поведаст ему ужасную повесть своей жизни, чтобы потом облиться заслуженными слезами раскаянья и услышать, как ангелы небесные славят его подвиг покаяния. И так приятны были эти мечтания, что отец Иов даже переставал слышать, что говорит исповедуемый, а весь отдавался этой чудесной картине, которая захватывала его уже в полную силу, так, что он и сам плакал от умиления, а чтобы ему никто не мешал, скрывался в мощехранилище, оставив прочих исповедующихся на попечение отца Ферапонта...

Между тем, звуки Страшного суда, доносившиеся из соседней келии, не прекращались. Привычным движением затолкнув в уши ватные тампоны, отец Иов погрозил стенке кулаком и забрался под одеяло.

И сразу сон принял его в свои объятия.

Так, словно давно уже ждал его и теперь был готов развернуть перед отцом Иовом все свои умопомрачительные тай-

ны и богатства.

О чем же был он, этот открывающийся перед ним сон, было еще не совсем понятно, не совсем внятно, потому что сцена, на которой этот сон должен был развернуться, все еще была покрыта первозданной тьмой, в которой ничего не происходило, ну разве что звучал этот немного картавый, немного назойливый, занудный старческий голос, который говорил что-то не совсем разборчиво, тогда как ему отвечал голос другой, но тоже картавый и тоже слегка занудный, хоть и гораздо моложе первого...

Тут до отца Иова стало доходить, что действие готового развернуться сна происходит как раз в келии самого отца Иова, кому же принадлежат эти голоса, о том пока сказано не было.

Впрочем, и без всякой подсказки было понятно, что старый, занудный голос за что-то хвалил отца Иова, а молодой с ним соглашался и охотно поддакивал.

– Ты только посмотри, – говорил старческий голос из клубящейся в келии темноты. – Куда ни посмотришь – везде такая чистота, которой и у нас не бывает... Ты только глянь, глянь. Все чисто, все на своих местах. И кассетки в порядке, и книжечки поставлены по цвету, и пластиночки разложены прямо по алфавиту, – как хочешь, а мне это все очень понравилось. Ты только посмотри!.. И чего это нас, интересно узнать, только пугали Этим Человеком, не понимаю.

– Невероятно, – подхватывал молодой голос. – Просто

невероятно, сколько тут красивых вещей, от которых кружится голова!.. Конечно, после этого довольно глупо было бы говорить, что Всевышний не любит Этого Человека, потому что в нем нет, якобы, и никогда не было духа нашей веры... Стоит только посмотреть на эту уютную келейку или на этого приятного молодого человека, который в ней живет, как сразу поймешь, что это неправда.

И пока этот голос говорил, тьма вокруг, кажется, немного разошлась и уже не казалась такой беспросветной, как прежде, мало-помалу обрастая некоторыми реальными деталями: черными сюртучками, широкополыми шляпами, белоснежными рубашками и выющимися пейсами – одним словом, всем тем, что легко давало возможность отличить настоящего еврея от ненастоящего.

Это в загоревшемся вдруг свете свечи Иов и увидел. А увидев, похолодел от макушки до кончиков пальцев, пытаясь крикнуть этим незванным ночным гостям, чтобы они немедленно убирались прочь, на что, конечно, никто из сидящих не обратил никакого внимания.

Напротив.

Сколько бы ни пытался отец Иов крикнуть или подать какой-нибудь другой знак, из груди его вырывался только глухой стон, совсем не мешавший двум иудейским негодьям творить свое черное дело, шепча над стаканом вина ужасные заклинания, от которых клубился по келии отравленный воздух и раздавалось заунывное пение чужой молитвы, от-

дельные слова которой отец Иов, к своему ужасу, вдруг стал отчетливо различать, и при этом – против собственной воли.

Тут пожилой еврей достал молитвенник и раскрыл его, а молодой поставил на стол хрустальный стаканчик в металлической оплетке и налил в него вина, потом они забормотали, перебивая друг друга, после чего пожилой спросил о чем-то молодого и тот ответил ему, как показалось отцу Иову, несколько восторженно, причину чего он, конечно, сразу понял, потому что дело шло о том, что старый жидяра предложил совершенно бесплатно обрезать этого, как он сказал, симпатичного молодого человека, и притом для его же, так сказать, блага, чтобы он не пропал для Небес, как пропадает желтый осенний лист, сорванный холодным ветром в этой варварской стране, где даже бездомные кошки кажутся отъявленными антисемитками.

Все дальнейшее, впрочем, было смутно.

«Не бойсь, не бойсь, – говорил пожилой, сверкая инструментом. – Сам же потом нам спасибо скажешь, касатик».

«Как же, ждите, – стонал отец, извиваясь, в надежде отстоять свое мужское достоинство, – знаю я вас, супостатов!»

«Говорю же, только спасибо потом скажешь, – повторил пожилой, протягивая к отцу Иову руки. – Ты ведь монах, зачем они тебе, эти причиндалы, если подумать? Так. Если разобраться, только ходить мешают».

«Уж как-нибудь сам разберусь, – говорил Иов, отмахиваясь от навязчивых рук пожилого еврея. – Сгинь, сгинь, нечи-

стая сила!»

Впрочем, уже звякнуло железо о стекло, словно подтверждая серьезность еврейских намерений, уже склонились над Иовом две широкополые шляпы, шелкая сверкающими ножицами и клещами, когда скованному отцу удалось, наконец, слегка пошевелиться и почувствовать приближение спасительной яви.

Она и в самом деле уже клубилась где-то совсем рядом, возвращая Иова привычному миру и с легкостью расставляя все на свои места.

«Сгинь», — сказал напоследок Иов, открывая глаза и понимая, что сон закончился.

Проснувшись же, он еще долго смотрел за окно, туда, где вели бесшумный хоровод яркие сентябрьские звезды, а лунный серпик все еще висел над монастырским двориком, положив на землю черные тени.

Потом отец Иов отбросил одеяло и сел на кровати, продолжая хмуро смотреть за окно, но вдруг улыбнулся и даже слегка просветлел лицом, потому что вспомнил вдруг, что послезавтра отец наместник отправляется, наконец, в долгожданный отпуск, а значит, никто не будет в продолжение трех недель кричать, ворчать и досаждать всякой ерундой, на которую отец Нектарий был непревзойденный мастер.

«Слава тебе, Боже наш, слава тебе», — с чувством прошептал отец Иов и вновь перекрестился, но на этот раз размашисто, широко и радостно, как и подобает тому, кого ждет

впереди радость, которую не отнять.

4. Сонные радости отца Иова

Но, что бы ни говорили там про эту ночь, навалившуюся на монастырек духотой и бессонницей, все же один человек радовался ей, блаженно улыбаясь и чмокая во сне губами, словно вернувшись на короткое время в свое бесконечно далекое детство.

Человеком этим был все тот же отец Иов, вернувшийся из ночного кошмара в явь и теперь вновь погружающийся в сон, который приснился ему на излете этой августовской ночи, когда духи – если верить старшему Гамлету – возвращаются в свои убежища, а тьма напоследок сгущается до такой степени, что ты можешь даже не увидеть свой, поднесенный к носу, собственный палец.

А снилось отцу Иову, что он идет по берегу кипящего озера и при этом идет медленно, не спеша, сцепив за спиной руки, оглядывая окрестности и чувствуя, как новая, только-только надетая ряса приятно холодит колени. Но главное заключалось, конечно, не в рясе и не в окрестностях. Главное заключалось в этом, краем глаза замеченном, кипящем в озере грешнике, который, похоже, из последних сил сдерживал крик, чтобы не позвать отца Иова и не попросить у него глотка воды или просто слова утешения и поддержки.

Ах, как же он извертелся, этот самый грешник по имени

отец Тимофей, какие выделял разные кренделя в бурлящем кипятке, так что даже отец Иов слегка развеселился во сне, бросив на вертящегося грешника взгляд, от которого тот немедленно ушел под кипящую воду. Когда же он, наконец, вынырнул, то увидел только спину отца Иова, который медленно уходил, исчезая за пригорком, но исчезал только затем, чтобы через несколько мгновений вновь появиться перед изнемогающим грешником, шурша новым облачением и делая вид, что он оказался здесь совершенно случайно. При этом он давал понять, что его ждут совершенно неотложные дела, так что этому грешнику следовало бы, пожалуй, слегка поторопиться, оставив в стороне свою гордость, и умолять отца Иова о снисхождении, понимая как меру своего падения, так и меру милосердия отца Иова, к которому следовало бы немедля возопить, пока он еще тут и не ушел, потому что без вопля, как известно, не может состояться никакое раскаянье, без раскаянья нет божьей милости, а без божьей милости немислимо никакое спасение.

Все эти азбучные истины были известны, конечно, даже самому последнему монастырскому слуге, но, несмотря на это, изнемогающий в кипятке грешник снова и снова прикусывал язык и кусал в кровь губы, дожидаясь, когда отец Иов скроется, наконец, за пригорком, чтобы выпустить из легких глухой и тоскливый стон. Выпустив же его, он вновь готовился повторить это снова и снова, потому что на берегу вновь появлялся отец Иов, чей лучезарный вид лучше всего

прочего свидетельствовал об его чистых помыслах и бесконечном милосердии.

Но пока он шел, медленно прогуливаясь и делая вид, что не замечает кипящего в огненном озере грешника, тот, похоже, уже готов был открыть свой рот и заорать что есть сил, насколько хватало воздуха, однако вовсе не просьбу о воде или тени, а нечто ужасное, богохульное и постыдное, нечто такое, что никак не могло бы понравиться кроткому отцу Иову, который в ответ на эти безобразия только едва нахмурил брови и распустил бороду, обличая этим греховную человеческую гордость, после чего вновь исчез из глаз изнемогающего грешника и на этот раз, похоже, надолго, возможно, даже на несколько часов, а может, и на несколько столетий, ибо – как заметил один проницательный святой – там, где времени больше не существует, остались не деяния, а только их результаты, так сказать, голые смыслы, которые не нуждаются уже ни в прошлом, ни в будущем, так что когда отец Иов появлялся вновь, могло показаться, что он и вовсе никуда не исчезал из поля зрения, а только прикидывался исчезающим, тогда как кипящая в озере вода нисколько не менялась, а как была кипятком, так кипятком и оставалась, в чем отец Иов находил особую божественную премудрость, которая позволяла все время держать грешника в напряжении и не давать ему возможности расслабиться, помня, что ты попал в руки Вечности, в которой не было ни года, ни числа, ни месяца, ни тысячелетия, а был только этот стонав-

ший грешник, да эта кипящая в озере вода, эта боль и иску-
санные губы, да еще негромкий смех отца Иова, который то
исчезал за холмом, то вновь появлялся, держа перед собой
открытую книжечку и время от времени бросал случайный
взгляд в сторону сидящего в кипятке грешника.

5. Сны монастырской братии

Сны, между тем, снились в эту ночь не одному только отцу Иову.

Снились они и отцу Тимофею, чьи сто тридцать килограмм живого веса содрогались от храпа за стеной кельи, и отцу Ферапонту, на чьих плечах лежала в монастыре вся издательская работа, и отцу Кириллу, совсем недавно принявшему сан и оттого ходящему все еще немного задравши нос.

Снились сны и болящему головой послушнику Тихону, почти не выходившему из своей келии, которую он делил с послушником Цветковым, заставляющим, в свою очередь, страдать и всю братию, и лично наместника отца Нектария.

Цветкову тоже снились в эту ночь разные сны, но все больше такие, каким не место было в богоспасаемой келии, а разве что где-нибудь в какой-нибудь рюмочной, разливочной или закусочной. Сегодняшней ночью ему тоже снилось какое-то форменное безобразие, в котором он запряг наместника и благочинного в небольшую бричку и теперь легонько щелкал над их головами плеточкой, от чего они вздрагивали и жалобно ржали и мычали.

Снились сны и отцу Фалафелю, который был когда-то надеждой и гордостью отечественного балета, а теперь выполнял обязанности псаломщика, и хромоногому послушнику

Алипию, и тоже недавно принявшему сан отцу Мануилу, который сидел когда-то в тюрьме за то, что не пожелал служить в армии, и после многих мытарств прибил к стенам этого душеспасительного монастырька.

Хоть и редко, но все же снились сны и благочинному, отцу Павлу, который прославился своим умением счета и полным равнодушием к потусторонней жизни, полагая, что в местах, где подсчитаны даже волосы, ему, Павлу, делать совершенно нечего.

Снились сны и отцу Нестору, худенькому, молчаливому, сосредоточенному армянину, никогда не выходившему за монастырские стены, которому в последнее время почему-то снилась керамическая плитка, цемент и кирпич; и послушнику Афанасию, который еще не знал, что скоро с него сорвут подрясник и изгонят из стен монастыря перед лицом всей братии и под злобное шипение отца наместника.

Снились они и отцу Маркеллу, состоявшему много лет келейником отца Нектария и лишь заступничеством владыки Евсевия избавившемуся от келейных мучений и возведенному в иерейский сан.

Снились сны и отцу Александру, вечному эконому, чья жизнь была целиком посвящена размышлениям, где взять денег для того, чтобы накормить голодных насельников, размышлениям тем более актуальным, что сам наместник денег на пропитание не давал, вероятно, памятуя евангельскую заповедь не заботиться о завтрашнем дне и присовокупив к

этой заповеди еще одну, из которой следовало, что настоящему монаху не стоит заботиться и о дне настоящем.

Если уж говорить о снах, то следовало бы отметить, что какие-то особенные сны снились послушнику Корнилию, который начинал вдруг посреди ночи, во сне, негромко, но проникновенно молиться, а потом забирал все выше и выше, упоминая в своих молитвах и себя, и поименно всю братию, и своих родных, а также своих друзей, знакомых и близких, распаляясь в молитвенном экстазе все больше и больше и не обращая внимания ни на окрики сокеелейников, ни на швыряние в него различных вещей, ни даже на тычки и затрещины и поливание холодной водой, которые позволил себе разбуженный молитвенным рвением обыкновенно чрезвычайно кроткий отец Фалафель.

Вот так они и двигались, все эти сны, то сплетаясь, то, наоборот, расплетаясь, делаясь то тусклее, то ярче, то угасая совсем, чтобы в следующее мгновение вспыхнуть ярким пламенем, от которого слепило глаза и долго разлетались в разные стороны искры, наводя на мысль о праздничном фейерверке.

Между тем, дошла очередь видеть сны и до наместника, отца Нектария. В эту ночь приснился ему такой же, как у отца Иова, большой плакат во всю стену, с которым обычно ходят в провинции на Первомай. На плакате был изображен сурового вида монах, который устремлял на зрителя указательный палец и глядел из-под насупленных бровей прямо в

душу пронзительными и всевидящими глазами. Надпись на плакате вопрошала: «А ты уже приумножил благосостояние матери Русской Православной Церкви?»

Судя по всему, намерения этого плакатного монаха были самые серьезные.

— А я... я... — лепетал во сне отец наместник, догадываясь, кто этот суровый муж и чего он от него, отца наместника, хочет.

Тут монах на плакате открыл рот и сказал:

— Ты, может, вопроса не понял, болезный?.. Тогда прочти еще раз, коли не понял, и ответь, пока я на тебя не осерчал: а ты вот приумножил благосостояние матери Русской Православной Церкви или как?

— Нет у меня денег... Нету, нету, — тяжело перекатываясь по своему ложу, твердил наместник, отворачиваясь от пронзительных глаз монаха. — Ишь чего, денег... как будто это какие-то фантики, а не государственные казначейские билеты...

— Нету, значит, — сказал нарисованный и растиражированный монах, нависая над лежащим игуменом. — А как же счет в Сбербанке?.. Там, выходит, не деньги лежат?

— Это личные, личные, — причитал наместник, показывая куда-то в потолок. — На экстренный случай, если что вдруг стрясется... Допустим, владыка приехал или командировка...

— Что же там может еще стрястись, когда у тебя монахи

по монастырю голодные ходят? – спросил монах с плаката и негромко засмеялся.

– А пускай смиряются, – сказал отец Наместник, чувствуя, как нехорошее чувство злобы к братии овладевает его сердцем. – Тут все-таки монастырь, а не какая там амбулатория.

Загадочное словечко «амбулатория», как это часто бывает во сне, вдруг превратилось в большую каменную глыбу, которая все росла и росла, грозя раздавить и игумена, и вверенный ему монастырь, а заодно уж и весь этот мир, который, ко всем его недостаткам, не мог и не умел оценить административный талант отца нашего наместника и его искреннее желание осчастливить весь мир, его, Нектария, опытом и знанием. И пока он горько сожалел об этом, мгла, окружающая пространство сна, разошлась, и наместник увидел перед собой всю монастырскую братию, которая надвигалась на него, словно грозовая туча, а у каждого в руке сверкал остро наточенный серп, который сразу навел отца Нектария на прямо-таки ужасные подозрения насчет этих сверкающих серпов, горевших в руках братии, словно поминальные свечи, и к тому же сопровождавшихся глухим молчанием, которое было страшнее всяких криков и угроз.

– Как! – вскричал изумленный донельзя наместник, не веря своим глазам. – Руку? На наместника! На предстоятеля?

– А ты не шуми, не шуми, – сказал стоящий ближе ко всем нарисованный на плакате монах. – Не шуми и смирайся! Неча тут антиномии разводить, касатик. Давай-ка лучше

скорее штаны снимай, малахольный!

И от этих страшных слов, которые все поставили на свои места, отец игумен закричал, да так, словно эти ужасные серпы уже добрались до его нежной плоти и теперь кромсали ее по всем правилам боевого искусства. И крик этот, прозвенев над монастырским двором, пронесся над улочками, закоулками и тупичками Святых гор и, наконец, взлетев над ночной землей, улетел куда-то в сторону богоспасаемого града Новоржева, переименованного, к слову сказать, когда-то императрицей Екатериной Второй из города Пусторжева в город Новоржев, что дало хороший материал для всякого рода насмешников и заядлых остроумцев, которые, ясное дело, никак не могли пройти мимо такого исключительного и редкого события.

6. Сон отца Павла

Как я уже сказал, отцу благочинному Павлу сны снились чрезвычайно редко, но если снились, то уж такая ерунда, что хоть святых выноси. Например, в самом конце апреля, когда последний снег с монастырской горки уже сошел, но грязи еще хватало, приснился Павлу сам Господь. Стоял Он у ученической доски с мелком в руке и что-то быстро подсчитывал, помогая себе мелком, который летал по доске, оставляя на ней циферки и значочки, тогда как сам отец Павел тянул изо всех сил руку, потому что углядел вдруг среди написанного некую погрешность, хоть и небольшую, но все-таки досадную и неуместную, тем более в таком святом деле, каким был счет.

– Что это вы, отец Павел, все руку тянете да тянете, – спросил Господь, не оборачиваясь и продолжая писать на доске округлым мелким почерком. – Выйти хотите?

– Так ведь, как же, – забормотал отец Павел, пытаясь в нескольких словах уместить рвущуюся из груди мысль. – Сами же можете видеть, ваше... дробь-то не сходится, потому что два и три будет непременно пять, а не как, извиняюсь, у вас вон.

– Пять и будет, – согласился Господь, продолжая писать. – Ну и что?

– Так ведь ответ, – сказал Павел и, не удержавшись, засмеялся, потому что это было бы понятно и трехмесячному младенцу. – Ответ-то, смотрите, он не сходится, батюшка. Это уж как хотите.

Вместо того чтобы обратить внимание и исправить ошибку, Господь неторопливо дописал циферки и значочки, затем подчеркнул двумя жирными линиями ответ и только после этого сказал, повернувшись к отцу Павлу и указывая пальцем на доску:

– Значит, не сходится, говоришь?

К ужасу Павла, ответ на доске был точь-в-точь такой, который и должен был быть, то есть, совершенно правильный и справедливый.

– Как же это, батюшка? – прошептал Павел, слыша, как громко забилося у него в груди сердце. Выходило, и в самом деле, что-то совсем уж больно нелепое и стыдное. Получалось, что можно было легко заменить все эти хрустящие, разноцветные, много лет подряд разложенные цвет к цвету, рисунок к рисунку бумажки, а ответ в результате ничуть бы от этого не пострадал, а, может быть, даже напротив – где-то выиграл, и от этой мысли в животе у Павла разом похолодело, и он спросил, одновременно доставая из кармана все эти хрустящие и цветастые, которые даже сейчас все еще радовали взор и веселили сердце:

– Что же теперь с этим-то, батюшка?

На что Господь почесал затылок и сказал, глядя на Павла

не к месту веселыми голубыми глазами:

– Даже и не знаю, Павлуша. Сам решай.

Затем Он вновь повернулся к доске, собираясь стереть с нее уже ненужные циферки и значочки, словно давая понять, что сон заканчивается и пора уже заняться чем-нибудь по-настоящему...

– Как же. Не знает Он, – бормотал Павел, просыпаясь и чувствуя, как обида накрывает его с головой, словно морская соленая волна на сочинском пляже, куда он ездил как-то в отпуск с отцом настоятелем.

Потом он всхлипнул, перевернулся на другой бок и сразу уснул. И на этот раз уже без сновидений.

7. Пару слов об архимандрите Кенсорине

С 1993 до 2000 года наместником монастыря был архимандрит Кенсорин (Федоров).

Некоторые из его пожилых прихожанок называли его *отец Керосин*, опасаясь напутать что-нибудь в его имени. «Отец Керосин» звучало понятно и никаких вопросов не вызывало.

Кто когда-нибудь его видел, тот наверняка запомнил его хитрую и умную лисью мордочку и пронзительные глаза, которые словно внимательно изучали тебя изнутри.

Характер его был, как рассказывали, нелегок, непредсказуем и порой злопамятен, однако монастырь при нем процветал и, как это ни странно, монахи его любили или, по крайней мере, отдавали должное его административным, хозяйственным, аскетическим и проповедческим талантам.

Как и у всех неординарных людей, у отца Кенсорина был свой небольшой пунктик, который он неукоснительно соблюдал. Пунктик этот заключался в том, что наш архимандрит считал, что должен Литургию служить каждый день. За это, как свидетельствует один интернетовский источник, его изгнали из Псково-Печерского монастыря, где он был келей-

ником валаамских старцев. При этом он умудрялся совершать литургию в своей келье на антиминсе, что было, конечно, самочинием и нарушением устава.

О своем назначении в Свято-Успенский мужской монастырь в Святых горах, архимандрит Кенсорин рассказывал так:

«Там было в Святогорском монастыре неустройство. И Владыка наш Евсевий приезжал на праздник Серафима Саровского в Аксеново. Посмотрел, как мы живем, а у меня было три коровы, пятнадцать ульев пчел, куры, индюки – большое хозяйство. Уехал Владыка, ничего не сказал. Вернулся через две недели и говорит: «Отец Кенсорин, я тебя перевожу на новое место». А я говорю: «Куда?» Он мне не сказал. Если бы я знал, что в Святогорский монастырь, я бы в ноги упал Владыке и не пошел туда. Слезно молил бы. А Владыка ходит по комнате и говорит: отец Кенсорин, признай Волю Божию, признай Волю Божию... Но не сказал – куда. Я поехал за советом к отцу Иоанну Крестьянкину в Печерский монастырь. Он сказал: узнай, куда, и тогда приедешь снова. Владыка сказал: в Пушкинские горы поедешь, и дает мне назначение быть благочинным и наместником Святогорского монастыря. А там нет ни дров, ни воды, ни денег, ни сена, ни братии. Поехал к Иоанну Кронштадтскому в Петербург, взмолился у его гробницы: «Отец Иоанн Кронштадтский, помоги, я не знаю, что делать». Жил в этом монастыре, каждый день служил и проповеди говорил, народ

расположился ко мне и стал давать денег.

Да, потом народ в Пушкинских горах стал помогать. А когда монастырская братия захотела меня снять с прихода, я и сам этого хотел, поехали к о. Николаю Гурьянову: отец благочинный, духовник, эконом. А о. Николай вышел на крылечко и во весь голос, чтобы все слышали, сказал: «Если отец Кенсорин будет уходить, держите его за рясу».

А Владыка Евсевий мне как-то сказал: «Отец Кенсорин, ты даже представить не можешь, как ты помог в возрождении Святогорского монастыря».

Это был единственный отзыв о моей деятельности в монастыре».

Впрочем, не все было так гладко, как хотелось.

В году примерно 1999 произошли в монастырьке небольшие волнения, в разгар которых некоторые монахи написали и отправили письмо владыке в псковскую епархию, жалуюсь не то на плохую еду, не то на притеснения, чинимые игуменом, отцом Кенсорином, не то еще на какую-то ерунду; копию же жалобы направили в Московскую Патриархию, ожидая решения их тяжбы и скорого торжества справедливости.

Владыка наш, Евсевий, как и всегда в подобных ситуациях, поступил мудро и дальновидно: с жалобой ознакомился, но никакого хода делу не дал, а вместо этого отправил жалобу самому наместнику, архимандриту Кенсору, с тем, чтобы этот последний во всем разобрался и принял надлежащие меры.

Наместник меры, разумеется, принял и при том так удачно, что надолго отбил у братии охоту подписывать какие бы то ни было письма и заявления.

Что же касается зачинщиков смуты, то кроме изгнанных навсегда из монастыря, их осталось только двое – отец Тимофей и отец Павел. После недолгого разбирательства они были отправлены наместником в ссылку, в унылый город Новоржев, который, как свидетельствует плакат при его въезде, был переименован Екатериной Второй из Пусторжева в Новоржев, за что жители послали императрице благодарственный адрес и вновь освященную икону «Нечаянной радости».

Сама же эта монашеская жалоба послужила в дальнейшем целям, так сказать, педагогическим и воспитательным, так что стоило лишь какому-нибудь строптивому монаху высказать недовольство генеральной линией, которую проводил архимандрит Кенсорин, как откуда-то издалека немедленно доставалась на свет божий эта самая жалоба, и отец архимандрит, ласково улыбаясь, спрашивал провинившихся, не знают ли они, чья это подпись красуется тут, в конце страницы, и не пора ли, наконец, поставить об этом в известность церковные власти.

«Да и светские тоже», – добавлял он со значением, после чего, обыкновенно, волна недовольства стихала.

Впрочем, не удалось уберечься и самому Кенсору. Не знаю, дошла ли эта история с жалобой до Синода, или она послужила причиной чьих-то хитрых манипуляций, о кото-

рых мы ничего не знаем, но только в один прекрасный день посланник владыки сообщил архимандриту, что его отправляют на покой, о чем владыка Евсевий уже подписал соответствующее распоряжение.

Результатом же всего этого закулисья стало явление нового наместника, отца Нектария, чья звезда возшла над убогой пушкиногорской действительностью стремительно и надолго, хоть сам игумен, как рассказывали, так не считал, рассматривая свое игуменство только как вынужденную ступень в дальнейшей карьере, в которой он поначалу нисколько не сомневался.

Но что бы там ни говорили, одно оставалось неоспоримо: с приходом в монастырь отца Нектария начиналась новая и еще пока что не совсем понятная история.

8. Явление

Сохранилась легенда о том знаменательном дне, когда голос отца Нектария впервые возвестил о себе беспечным святогорским монахам. О достоверности ее я не ручаюсь, но что, как говорится, есть, то есть.

Легенда эта рассказывает о некоем господине, появившемся в монастыре в самую неподходящую летнюю жару, от которой попрятались все монахи и сам монастырь, казалось, вот-вот начнет таять.

Господина этого звали отец Нектарий и, судя по всему, он был не кем иным, как новым наместником, назначенным владыкой Евсеем, о чем монастырских монахов поставили в известность еще на прошлой неделе.

Как бы то ни было, но явление отца Нектария в этот жаркий день случилось и случилось даже не без некоторых исторических параллелей, таких, например, как ожидание Наполеоном на Поклонной горе московских ключей или знаменитая речь Ломоносова, сказанная им при вступлении в должность ректора, – параллели, которые сами собой немедленно напрашивались, стоило вспомнить прибытие нового наместника в пункт его конечного назначения и все, с этим прибытием связанное.

Судите сами.

Во-первых, как рассказывает легенда, вновь назначенный игумен прибыл в монастырь с одним тощим чемоданчиком, что уже одно вызвало удивление и подозрение окружающих.

Во-вторых, он приехал из Пскова на автобусе, что тоже могло бы послужить соблазном для слабых и пищей для соблазнительных размышлений всех прочих.

Наконец, в третьих, было удивительно, что никто не позвонил по поводу его появления из епархии, не предупредил насельников, чтобы приготовили игуменские покои, сварили праздничный обед. Пуст был монастырский двор, пусты были хозяйственные постройки, не подымался над трапезной нежный белый дымок.

Одним словом, первый день пребывания отца Нектария в монастыре был, как рассказывают очевидцы, с самого начала омрачен небольшими, но запоминающимися происшествиями. И хотя деталей происшествий никто, конечно, толком уже не помнил, но и без деталей было понятно, что случившееся в этот день имеет, так сказать, скорее символическое значение, то есть, говоря другими словами, оно было гласом Божиим, который, как это и положено гласу, все по своим местам расставлял, всех обнадеживал и предупреждал, всех оберегал, а особо непонятливым втолковывал, так что только одно в этой истории оставалось не совсем понятным: к кому, собственно говоря, обращался этот небесный голос – к новоприбывшему ли отцу наместнику или ко всем святогорским монахам, чье будущее уже стучало в их кельи, а может, и ни

к кому в особенности, что тоже было явлением в монастырских стенах довольно распространенным.

И вот он шел по монастырскому двору, этот самый господин с тощим чемоданчиком в руке; шел, обзоревая окрестности и отыскивая игуменские покои, пока, наконец, не уперся в закрытую дверь, за которой его ждал отдых, обед и новая, ни на что прежде не похожая, прекрасная жизнь. Но время шло, а обещанной жизни все не было и не было. Напротив. Было что-то унижительное в этом стоянии под дверью, как будто вся братия назло ему вдруг в одночасье вымерла, оставив наместника перед этой дверью, в которую он все еще стучал, надеясь, наверное, что кто-то из братии все же окажется живым.

Наконец дверь отворилась, и на пороге появился совершенно несимпатичный, сонный монах, который подозрительно посмотрел на Нектария и сказал:

– Чего стучишь? Не видишь – закрыто?

– Вижу, – сказал Нектарий, – потому и стучу.

– Ну, стучи, – сказал монах и попытался снова закрыть дверь, чему отец Нектарий немедленно воспротивился.

– Сказано, никого не пускать, – сказал монах, дергая дверь.

– Вот и не пускай, – сказал Нектарий, нажимая дверь с другой стороны, – а меня не закрывай.

– А тебе зачем? – спросил монах, явно не обремененный избытком воспитания. – Ты кто?

– Я-то? – сказал Нектарий, представив, как изумится сейчас этот самый сонный и неприветливый монах. – Я твой новый наместник.

– Ты? – переспросил монах и засмеялся.

– Чего лыбишься-то? – сказал Нектарий, умевший, при случае, вспомнить подходящие слова. – Говорю тебе, наместник – значит наместник.

– Какой же ты наместник, – сказал монах, с презрением оглядывая приземистую фигуру отца Нектария. – Наместник – это ого-го. Орел. А ты кто такой?

– Вот уж погоди у меня, – пробормотал Нектарий, отжимая монаха в сторону и входя в помещение. Потом он остановился у лестницы, ведущей наверх, и закричал:

– Где келейник отца наместника?.. Ну-ка покажись!.. У вас тут что, заснули все?

Глаза его при этом зажглись прозрачным пламенем, которое впоследствии испортило жизнь в монастыре и правым, и виноватым.

Спустя полтора часа новый наместник был помыт, накормлен и положен отдыхать.

Он лежал, накрытый пуховым одеялом, и думал, что еще совсем недавно, какие-то четверть века назад, он бегал голоногим мальчишкой по улицам пыльного Чимкента и всегда останавливался возле чимкентского храма, не решаясь переступить его порог и сгорая от любопытства, желая узнать, что же находится там, в темной глубине, откуда время от време-

ни доносилось завораживающее пение или раздавался чей-то голос, который громко и нараспев говорил какие-то загадочные слова, от которых на душе становилось легко и радостно и под ложечкой сладко сосало, словно от близости какого-то праздника.

Потом он вспоминал бабушку и деда, которому обещал как-то, что обязательно станет епископом, а дед, похлопывая его по плечу, посмеивался и говорил что-то вроде того, что, стань Сашка-баловник епископом, и ему, деду, пришлось бы, пожалуй, положить на стол партийный билет. Тогда бабушка косилась на дверь и говорила что-нибудь вроде «Тш-ш-ш», или «Совсем ты спятил, старый», или же «Ну чему ты ребенка учишь?», а дедушка смеялся.

Епископом отец Нектарий пока еще не стал, и это обстоятельство почему-то показалось ему сегодня вдруг чрезвычайно досадным. Особенно досаждала мысль о том, что он не выполнил своего обещания, данного когда-то бабушке и деду.

– Получается, что ты обманщик у нас, – сказал ему в ухо голос бабушки, который всегда появлялся некстати и не вовремя.

И так горько, так несправедливо было это слышать, что он вылез из-под теплого одеяла, открыл свой походный чемодан и, достав оттуда бутылку давно хранимого «Абсолюта», благоговейно приступил.

– За приезд, – сказал он и медленно, до капли влил в себя

хрустальную жидкость.

Потом выпил еще. Но на этот раз за отъезд.

И, наконец, в третий раз было выпито за грядущее епископство, которое теперь казалось совсем близким, рукой подать.

В груди потеплело. Мир уже не казался таким несправедливым, как прежде. Напротив. Он казался близким, родным и понятным, что тоже вызывало слезы, но на этот раз – горячие слезы радости.

Потом мысли его унеслись уже куда-то совсем далеко, туда, где никто не называл его за глаза «жирдяем», а, напротив, все были рады его присутствию, так что все, кого бы он ни встретил, радостно ему улыбались и говорили что-нибудь вроде: «А вот и наш наместник», или «Вашими молитвами, отче», или даже «Ваше преосвященство», что было, конечно, не совсем правдой, но зато чрезвычайно уместно и вызывало в теле легкую приятность.

Заглянувший в покои келейник Маркелл увидел плачущего наместника, который размазывал по лицу слезы и, судя по тому, что он говорил, собирался немедленно простить всех, кто когда-нибудь обижал его, отца Нектария.

И вот в это самое святое мгновение, когда казалось, что ангелы небесные уже готовы опуститься на землю и воздать отцу наместнику по заслугам, – в это самое мгновение отвратительный смех и нецензурная брань раздались на улице, прямо под окнами отца Нектария, который немедленно от-

крыл окно и закричал стоящим внизу двум скобарям, чтобы они немедленно убирались прочь от этого святого места, иначе он, Нектарий, за себя не отвечает.

Стоящие внизу дети псковской вольницы ничего на это отцу Нектарию не сказали, зато немедленно познакомили его с некоторыми жестами, глядя на которые отец игумен сначала побледнел и заскрипел зубами, после чего бросился, никем не замеченный, со всех ног вон из игуменских покоев, чтобы примерно наказать врагов рода человеческого, не имеющих совершенно никакого уважения к званию наместника.

– Чего, чего? – сказали скобари, глядя на подходящую к ним нетвердой походкой внушительную фигуру наместника.

– А ничего, – успел сказать отец Нектарий, и свет в его богоспасаемых глазах на какое-то время потух.

Деталей дальнейшего хода описываемых событий мы не знаем.

Доподлинно известно только то, что спустя полчаса или около того наместник был помещен в камеру предварительного заключения, в которой он кричал, ругался и требовал немедленно принести ему телефон, чтобы поговорить с правящим архиереем.

– Будет тебе архиерей, – говорил дежурный, ловко раздавая карты. – Слышал, какой шустрый?.. Архиерея ему подавай...

– А вот, – отвечал ему второй игрок в чине младшего лейтенанта. – Совсем эти монастырские потеряли всякий

стыд... Вот ты бы пошел бы в таком платье на улицу? И я бы не пошел. А они?.. Да ему это как два пальца обоссать. Взял и пошел.

– Отоприте лучше, – сказал загробным голосом наместник.

– Да уж, сейчас все бросим и побежим тебя отпирать, – отозвался дежурный, раскладывая на столе карты.

Из камеры предварительного заключения раздался странный звук – нечто среднее между рыданием и ворчанием разъяренного льва.

– А то ты что думал? – сказал дежурный. – Что будешь драться и озоровать, да в общественных местах в женском белье ходить, а тебя за это по головке погладят?.. Нет, брат, шалишь. В общественных местах полагается в штанах ходить, а не в платьицах.

– Это подрясник, басурман, – с презрением сказал наместник, тяжело вздыхая.

– Да хоть что, – сказал дежурный, разглядывая карты. – Что ж, что подрясник? Можно и в подряснике столько дел наворочать, что только держись... Теперь-то уж что?.. Сиди, раз попался.

– Что же вы не понимаете-то? – злился наместник и тряс решетку. – А еще милиция, называется... Я лицо духовное, мне в таком виде нельзя находиться.

– Раньше надо было думать, – задумчиво произнес дежурный и добавил. – Видел, как карта легла?.. Просто чудо.

– Это потому, что у тебя в камере духовное лицо сидит, – пошутил лейтенант.

– Да уж не иначе, – тасуя карты, засмеялся дежурный.

– Эх, вы, – опускаясь на скамейку, сказал Нектарий.

– А вот это правильно, – разглядывая карты, сказал дежурный. – Посиди, отдохни, пока время есть. Вот смена придет, пусть с тобой и разбираются. Позвонят главному, а там уж, как решат.

– Да я и есть самый главный, – сказал наместник, с отчаяньем бия себя в грудь.

– Ну, вот и хорошо. Стало быть, и звонить никому не надо будет.

– Непонятно только, зачем же ты драться полез, если ты самый главный? – резонно поинтересовался лейтенант. – Позвал бы вон своих монашек, они бы за тебя все сделали, что надо...

Вместо ответа наместник только что-то проворчал в ответ, заскрипел зубами и медленно опустился на скамью, положив под щеку пухлый кулачок.

И снился ему сон, будто он уже никакой не наместник, а свободная птица орел, которая парит под облаками над этой святой обителью и при этом открывает и закрывает клюв, поучая летящих ниже птиц, которые с благоговением слушают его мудрые речи, отчего отец наместник улыбался во сне и даже слегка постанывал, причмокивая сложенными сердечком губами.

Между тем, события в монастыре развивались своей чередой.

Цветков, который почему-то всегда был в курсе последних новостей, позвонил из трапезной отцу Иову и сообщил ему, что, по его сведениям, новоприбывший наместник сидит в КПЗ.

– Не может быть, – сказал отец Иов, оставленный до прибытия наместника старшим в монастыре. – В милиции? Да с какой это стати?

– Вот уж не знаю, – сказал Цветков, и всякий, кто знал его, мог побиться об заклад, что в его голосе отчетливо прозвенела неподдельная радость по случаю нового скандала.

Впрочем, все пока складывалось так, что было не до Цветкова.

Гроза собиралась над монастырем, и, похоже, пока еще не было никакой возможности ее остановить, и оставалось только ждать, надеясь, что ее пронесет мимо.

– Господи, помилуй, – шептал отец Иов, глядя в окно, где уже заметны стали первые признаки долгого летнего вечера, обещавшего душную ночь. – Спаси, сохрани и помилуй нас, Господи, пока что-нибудь не случилось...

Надо сказать, что издалека стройный отец Иов всегда был чем-то похож на большой гвоздь, который забыли забить, и болтался он туда-сюда, не зная, куда ему лучше притулиться. Однако, сегодня этот гвоздь, похоже, был несколько согнут под тяжестью решений, которые ему немедленно предстоя-

ло, не откладывая, принять.

И в самом деле.

Идти выручать наместника было, конечно, страшно, но не идти к нему было еще страшней, и уж совсем невыносимым был, конечно, гнев владыки Евсевия, который он мог обрушить на монастырь, если бы узнал вдруг эту загадочную историю про пропавшего наместника.

Одним словом, как ни крути, а все это в результате грозило отцу Иову большими неприятностями, о чем ему следовало, пока не поздно, серьезно подумать.

Возможно, он и думал, просчитывая все возможные варианты и прикидывая выгоды и потери. Нам это, во всяком случае, не известно. Доподлинно же известно только то, что в восьмом часу отец Иов постучался в пушкиногорское отделение милиции и попросил дежурного вернуть монастырю его наместника.

– Попа, что ли? – спросил дежурный, одновременно глядящий искоса в свои карты. – Такой бойкий мужчина. Все зубами скрипел.

– Сегодня только прибыл, – сказал отец Иов, давая понять, что в поведении отца наместника есть смягчающие обстоятельства.

– Это не причина, – сказал дежурный. – Правила для всех обязательны. В следующий раз пойдет у нас по полной программе.

– Конечно, – сказал Иов, проходя к камере и останавли-

ваясь в ожидании, когда дежурный ее откроет. И войдя в камеру, сказал:

– Отец Нектарий... Пора.

В углу КПЗ лежал на скамейке, свернувшись калачиком, новоприбывший отец Нектарий и сладко похрапывал во сне. Голые пятки его торчали из-под подрясника, словно две большие картофелины.

– Забирайте, – сказал дежурный, гремя ключами. – Эй, начальник, проснись, подъем!

Как это ни странно, но отец Нектарий немедленно проснулся.

– Кто это? – спросил, поднимаясь на скамейке, еще не открывая глаза.

– Это я, отец Иов, – сказал отец Иов, протягивая наместнику руку. – Пришел вас забрать.

– Видел меня в позоре моем, – сказал отец Нектарий и ударил себя в грудь. – Что это за отцы такие, что не могут спасти своего предстоятеля?

– Да все в порядке, не волнуйтесь, – сказал отец Иов.

– Конечно, в порядке, – сказал отец Нектарий, открывая глаза. – Когда наместника повлекут по улицам, словно последнего вора, вот это и будет ваш порядок... Почему раньше не пришли?

– Так ведь не знал никто, – сказал отец Иов.

– Это как же понимать?... Наместник пропал, и никто даже не спросил, куда он подевался, так, что ли?

– Послушайте, уважаемый, – вступил в разговор дежурный. – Поторопитесь, пожалуйста, а то ведь можно и опять за решетку прогуляться.

Ответом ему был злобный взгляд, которым наградил его отец Нектарий, покидая пушкиногорское отделение милиции.

Очутившись на улице и вызвав своим подрысником небольшой смех у двух проходящих мимо школьниц, отец Нектарий вдруг повернулся к Иову и сказал:

– Что же ты одежду мою не взял? Как вот теперь мне идти тут прикажешь?.. Ходи теперь тут голышом, так, что ли!

В этом вопросе отцу Иову вдруг послышался свист топора. Он попытался сделать веселое лицо и сказал:

– Да ну, ей-богу... С кем не бывает?.. Да и идти всего ничего... Вон уже и пришли.

– Пришли, говоришь? – мрачно поинтересовался отец наместник и лицо его вдруг побагровело. – Ну, погодите у меня, – сказал он, грозя кулаком побледневшему отцу Иову. – Попляшете еще у меня, ох, и попляшете. Узнаете тогда, как с наместником-то шутить!

Такова была короткая, но впечатляющая речь отца игумена при его вступлении в должность наместника Свято-Успенского мужского монастыря.

А поскольку никого рядом с ним, кроме отца Иова, в этот час не было, следовало думать, что сказанное относится в первую очередь к нему, а уж потом и ко всем остальным на-

сельникам.

И от этой мысли сердце отца Иова тревожно екнуло.

9. Враги человеку домашние его

Домашних врагов у отца Нектария было на первый взгляд всего двое. Келейник Маркелл и безымянный компьютер, таинственно мерцавший своими лампочками возле самого ложа отца Нектария.

Если верить отцу Нектарию, то келейник Маркелл был шумлив, нерасторопен, забывчив, неопрятен, неуклюж и непоседлив. Так, во всяком случае, характеризовал его сам отец наместник. Иногда, забывшись молитвой, он не помнил, куда шел или вообще уходил в чью-нибудь келью, где предавался легкой дреме, игре в шахматы или душевным разговорам с кем-нибудь из братии. Все это было бы еще вполне терпимо, если бы не утренние часы, во время которых Маркелл пытался довести до сведения отца Нектария ту общеизвестную истину, что кто рано встает, тому Бог подает. Вставать отец Нектарий отказывался принципиально. Вместо того чтобы вставать, он жалобно скулил, рычал, прятался в подушках, делал вид, что уже давно встал, ругался, мастерски закручивался в одеяло и обещал обрушить на голову Маркелла все мыслимые проклятия, от которых тот должен был немедленно превратиться в крысу или во что-нибудь еще почище.

— Сгинь, — шипел отец наместник, вцепившись в одеяло. —

Сгинь, проклянну!

– Время, батюшка, – смиренно говорил Маркелл, не отпуская, впрочем, одеяло. – Вы сами велели.

– Вот и делай, что тебе велят, – шипел отец наместник, умудряясь накрыться остатком одеяла. – Тоже мне, аскет пушкиногорский... Сгинь, нечистая, пока не покалечил...

– Так ведь что, – говорил тогда Маркелл, прибегая к последнему аргументу, который, случалось, и помогал. – Вон, владыка уже приехал. Сейчас к нам подымется.

– Что за владыка, какой владыка? – бормотал наместник, выпуская одеяло. – Не может быть!

– Уже по лестнице поднимаются, – сообщал Маркелл.

– Где по лестнице, по какой лестнице? – стонал наместник, выпуская одеяло и вместе с ним последние остатки утреннего сна.

– Вон, подымается, – говорил Маркелл, на всякий случай пятясь назад, к двери.

Отец наместник, чертыхаясь и тяжело дыша, подходил, завернувшись в одеяло, к окну и выглядывал на пустой двор.

Случавшаяся затем пауза была подобна затишью перед готовым вот-вот обрушиться штормом.

– Ну и где? – спрашивал отец наместник, поворачиваясь к Маркеллу и подыскивая отвечающие случаю слова.

В ответ Маркелл смущенно улыбался и пожимал плечами, делая вид, что он тут вовсе не при чем.

– Значит, обманул, – говорил наместник, опускаясь на пу-

фик возле окна. — Знаешь, что я с тобой сейчас сделаю?

— Догадываюсь, — отвечал Маркелл, прикидывая расстояние от окна до двери и убеждаясь, что ни за какие коврижки отец игумен не сумеет его догнать.

Возможно, о том же думал и отец игумен, посчитав, на сей раз, отложить экзекуцию в сторону. Вместо этого он еще глубже ушел в теплый пуфик, подобрал пуховое одеяло и сказал голосом, полным горечи и сожаления:

— Конечно, — сказал он, чувствуя, как к горлу подкатывает непрошенная скупая слеза. — Предстоятель стоит, молится всю ночь за братию, за прихожан, за весь мир, он напрямую обращается к Небесам и ложится с ранними петухами, а ты?..

— Так ведь просили же, — сказал Маркелл, выказывая некоторое упрямство.

— Да мало ли что у тебя просили! — закричал наместник совсем каким-то неприличным фальцетом, одновременно махая руками, словно хотел немедленно взлететь. — А если тебя попросят игумена убить, ты что? Тоже побежишь?

Предложение убить игумена произвело большое впечатление как и на самого игумена, так и на Маркелла. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, словно пытались обнаружить в этих словах какой-то тайный умысел. Не найдя такового, отец наместник сказал (хотя сказанное было явно не к месту):

— А если ты наместника не уважаешь, то ты и Христа не

уважаешь, потому Христос передал нам всю полноту власти. А то, что наместник несколько лишних минут поспит, так это ему только на пользу, и можешь даже в этом не сомневаться.

– Вы больше ночью перед компьютером сидите, чем молитесь, – отвечал бесстрашный Маркелл, указывая на мерцающий экран компьютера, который по праву мог считаться домашним врагом номер два. – Вон уже время третий час, а вы еще даже на молитву не вставали.

И в самом деле. Стоило ночным сумеркам опуститься на Святые Горы, как отец наместник включал свой компьютер и погружался в волшебный мир виртуальных иллюзий, которые он тут же, впрочем, порицал, обличал и критиковал, как и следовало православному игумену, которому просто невозможно было промолчать, видя такие безобразия, которые творились на экране.

– Что люди только не делают, – говорил он, утопая в своем кресле и глядя на то, что происходит на экране монитора. – Просто Содом и Гоморра, прости Господи.

– Вот и не смотрели бы, – сказал Маркелл. – Нечего какому-то железному ящику потворствовать.

– Чтобы ты знал, невежа, это наука, – сказал отец игумен, обижаясь за своего любимца. – Тут особое понимание надо.

– Сами говорили – не сотвори себе кумира, – напомнил Маркелл, на всякий случай останавливаясь у дверей и не проходя дальше.

– Вот и не сотвори, – рассердился Нектарий, выведенный из терпения непослушным келейником, – а игумена учить не надо. Игумен сам кого надо научит, если понадобится.

– Я и не учу, – сказал Маркелл, глядя на монитор. – Очень надо.

– Вот и не учи, – с раздражением повторил отец Нектарий, отгораживаясь от Маркелла плечом. – А от экрана отойди, тебе это все равно смотреть рано.

– Вы же вон смотрите, и ничего, – сказал Маркелл, отходя.

– Конечно, ничего, – сказал отец Нектарий. – А ты как думал? Или, может, ты думал, что игумен – это пустое место, о которое любой балбес может ноги вытирать?.. Так только дураки думают, и так думать не надо.

– А как надо? – спросил Маркелл, пожалуй, даже с вызовом.

– А так, что если ты закрыт игуменским щитом веры, то тебе ничего, никакие адские козни не страшны, – сказал наместник, с отвращением глядя на своего келейника. – Понял теперь, католик?

– Вы, значит, щитом веры закрыты? – сказал Маркелл.

– А ты, значит, сомневаешься? – спросил Нектарий, снимая с ноги тапочку. – Между прочим, ты тут тоже под игуменом и под его игуменской защитой находишься. Так что и бояться тебе совершенно нечего.

– Еще бы, – говорил Маркелл, уворачиваясь от летящей в него тапки. – Чего, в самом деле, мне бояться?..

...Случалось, что отец Нектарий засыпал прямо на своем компьютере, и тогда Маркелл будил это сонное, бормочущее и храпящее тело и доставлял его на ложе, где раздевал, укладывал и укутывал одеялом, после чего крестил и выключал компьютер, желая ему поскорее провалиться, а сам вставал на долгую ночную молитву, среди которой можно было найти просьбу поразить огнем небесным это железное дьявольское отродье, которое превращало день в ночь, а ночь в день, отрывая человека от молитвы и делая его слабым и открытым перед лицом сомнений, соблазнов и горестей.

10. Начало бедствий

Страшный суд местного значения разразился над монастырьком почти сразу после того, как отец Нектарий широко отметил пять лет своего выдающегося наместничества.

Бедствия не замедлили дать о себе знать, словно напоминая монастырским насельникам все то, о чем они так долго и убедительно рассуждали, указывая на необходимость ремонта и шпыняя отца Кенсорина за его медлительность и неумейство.

Первой ласточкой новых перемен стал приказ отца игумена отделить обыкновенных прихожан от монахов и тем самым напомнить всему миру, кто тут в храме настоящий хозяин. Затем последовал приказ о том, что женщины должны стоять отдельно от мужчин, дабы не вводить в искушение эту лучшую часть человечества.

Затем последовало распоряжение женщинам стоять слева, а мужчинам справа.

Затем наоборот – женщинам повелевалось стоять справа, а мужчинам слева.

Затем пришел приказ, что к исповеди должны сначала подходить мужчины, а уж потом женщины и все прочие.

Затем то же самое было проделано с Чашей, приступать к которой следовало сначала монахам, потом мужчинами, а

уж затем женщинам и всем остальным.

Затем появилось распоряжение о цыганах, запрещающее им приближаться к храму в целях попрошайничества и гадания; распоряжение о том, чтобы не пускать в храм непристойно одетых туристов; распоряжение выдавать женщинам сомнительного поведения головные платки и прикрывающие колени юбки, – и так далее, и тому подобное.

Все эти целомудренные распоряжения, конечно, обличали в отце Нектарии выдающегося борца за чистоту православной веры, однако, вместе с тем, они сильно мешали бесполовым блужданиям прихожан, окончательно запутанных бесконечным числом указов и распоряжений.

Между тем, реформаторский задор, казалось, не утихал в сердце отца наместника ни на минуту. Случалось, что он выходил на вполне мирную прогулку, а возвращался с какой-нибудь умопомрачительной идеей, от которой весь монастырь сначала замирал, а потом поскорее забивался в свои кельи, надеясь, что нелегкая пронесет новоявленного реформатора мимо.

Сам же отец Нектарий считал себя только скромным रुपором Божиим и, не стесняясь, не уставал напоминать об этом своим ленивым монахам.

«Вы, небось, думаете, что это просто так игумену в голову приходит, – говорил он собравшимся на какой-то соборик монахам. – А это не игумен, а Дух Святой, говорящий через игумена, доводит до вашего сведения то, что вам следует де-

лать... И не вздумайте потом говорить, что вы не слышали, о чем идет речь».

Монахи отводили глаза и торопливо кивали головами, не подозревая, что настоящие бедствия еще ждут их впереди.

И они, конечно, не замедлили вскоре дать о себе знать.

Прогуливаясь как-то по внутреннему дворику монастыря, отец Нектарий вдруг остановился, скинул с себя монашеский клобук, стукнул его оземь, а затем засмеялся и вознес троекратное «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе!» прямо к стоящим над ним Небесам. Затем он потребовал к себе благочинного Павла и, когда тот пришел, то немедленно затворил все двери и погрузился с ним в какие-то серьезные расчеты, о которых келейник Маркелл отзывался, как о дороге в Преисподнюю.

Весь монастырь замер.

А, между прочим, новый план, посетивший голову отца игумена, был изящен и прост. Он заключался в том, чтобы перестроить старый административный корпус и превратить его в первую классную гостиницу, способную конкурировать с лучшими гостиницами Пушкиногорья. Дело, разумеется, шло, в первую очередь, о деньгах, а там, где дело идет о деньгах, там, как известно, не следует быть ни слишком щепетильным, ни слишком богобоязненным.

Отец наместник и не собирался быть ни тем и ни другим.

Первое, что он сделал, это выселил из корпуса всех монахов, распихав их по чужим кельям, кого куда, а сам остался в

корпусе практически один – если, конечно, не считать келью послушника Андрея, где стояли казначейские компьютеры.

Монахи роптали, но, памятуя о говорящем через отца игумена Духе Святом, открыто выступить побаивались.

А потом началась стройка.

Монахи, удрученные ночными бдениями и борьбой с Дьяволом и иже с ним, таскали кирпичи, мешали цемент, стеклили окна. Трудники сбились с ног, таская песок, утрамбовывая щебенку, клали каменный пол. Медленно, но неотвратимо два монашеских корпуса постепенно превращались в нечто, действительно похожее на средней руки гостиничку.

Список случившихся при этом потерь был внушителен.

Была разбита и потеряна плита с могилы брата Пушкина Платона.

Исчезли ворота восемнадцатого века с серебряными звездочками ручной работы.

Приказала долго жить кованая оградка того же восемнадцатого века.

Пропали многие иконы и среди них – чудесная икона Божьей матери в серебряном окладе, подаренная монастырю покойным отцом Никодимом.

Исчезла навсегда старинная многорожковая люстра, которую сменил какой-то жалкий, закрывший пол-иконостаса бублик.

В один прекрасный день – или, точнее, в одну прекрасную ночь, можно было видеть, как пригнувшись и не издав ни

звука, монахи, вооруженные кирками и ломами, собирались в храме возле входа на колокольню, чтобы потом, по знаку отца Павла, быстро подняться на колокольню и негромко застучать инструментом, ломая кирпичи и поднимая над храмом цементную пыль.

Утром того же дня прихожане, ожидавшие как всегда услышать начальные песнопения божественной Литургии, услышали вдруг, что голос хора идет откуда-то сверху. Все знали, что обычно хор пел сначала на левой, а после прихода Нектария – на правой, мужской половине храма. Теперь же он пел с невесть откуда взявшегося вдруг клироса, вознесшегося над головой довольно улыбающегося отца Нектария, который по такому случаю даже встал раньше обыкновенного, сильно удивив тем самым свою паству.

Скоро выяснилось, что трудолюбивые монахи сотворили клирос за одну ночь, вынеся лишние кирпичи и опасаясь случайных свидетелей: сотворили его без всякого согласования с какой-либо вышестоящей министерской инстанцией, точнее – как шутили позже монахи – согласовав случившееся с Небесной Канцелярией и получив благословение от отца Нектария, который был все-таки, в некотором отношении, в серьезном родстве с Небесами.

Еще одним шедевром стройки явилась, конечно, кухня на первом этаже – с новеньким шведским оборудованием, холодильниками, столами, а главное, механическим подъемником на второй этаж, прямо в апартаменты игумена.

Что же делать! Любил отец Нектарий откусать что-нибудь легкое перед сном, для чего собственноручно спускался вниз, на первый этаж, нагружал подъемник и нажимал заветную кнопку; подъемник, гремя и грохоча, поднимался на второй этаж, и запах изысканных блюд еще долго тревожил редких посетителей гостиницы, которые знали, что если среди ночи вдруг раздавался ужасный грохот, то это была вовсе не прелюдия к Страшному суду, а прелюдия к ночной трапезе наместника, у которого вдруг разыгрался аппетит, что было вполне понятно, если учесть то духовное напряжение, с которым наместник жил в дневные часы своего выдающегося наместничества.

11. Вешенки или о том, что в Царстве Небесном, возможно, обходятся без денег!

Один мой хороший приятель решил как-то осчастливить монастырскую, вечно недоедавшую братию весьма оригинальным способом. Он решил организовать выращивание грибов, которые появлялись, стоило только прогреть землю теплым весенним солнцем. Грибы эти назывались «вешенки» и были, в самом деле, отменные. Неприхотливые, по вкусу напоминающие куриное мясо, они были просто кладезем витаминов и прочих полезных веществ, которых так не хватало монашеской братии. К тому же они не требовали для себя никаких затрат, росли же быстро, на поваленных деревьях и старых корягах, не боялись холода и жары и по подсчетам моего приятеля могли в течение года кормить монахов этой высококалорийной, полезной и вкусно пищей.

Дело оставалось за малым – получить благословение наместника, без которого, как не без основания считал он сам, в монастыре ничего не происходило и произойти не могло.

И вот в один прекрасный день, сразу после окончания трапезы, мой приятель быстро подошел к отцу Нектарию, чтобы продемонстрировать ему это высококалорийное чудо, та-

релку с которым он поставил перед ним на стол.

– И что? – холодно спросил наместник, с брезгливой гримасой рассматривая лежащие перед ним грибы.

– Вот, – сказал мой приятель, человек мужественный и всегда готовый пострадать за правду и справедливость. – Благословите, отец наместник, создать на территории нашей фермы грибные теплицы.

И он подробно, в деталях, рассказал отцу Нектарию все, что касалось волшебных грибов, особенно упирая на те денежные выгоды и экономию средств, которые можно было в дальнейшем извлечь из постройки этих самых теплиц.

– Тем более, что затраты просто мизерные, – добавил он напоследок и смолк.

Потом наступила пауза. Знающие характер отца наместника поняли, что в голове его медленно проворачивалось в этот самый момент окончательное решение, исход которого целиком зависел от того, нужны ли лично отцу наместнику эти самые, неизвестно откуда взявшиеся грибы, или же он может прекрасно без них обойтись, не нанося себе никакого существенного урона, о котором он мог бы впоследствии пожалеть.

– Ты вот что, – сказал, наконец, отец Нектарий, одновременно зевая во весь рот и отодвигая от себя тарелку с грибами. – Ты эти грибы-то расти себе на здоровье, сколько хочешь, а когда время придет, то срезай их и иди на рынок. И там продавай. А деньги потом мне принесешь.

– Как? – не понял поначалу мой приятель, но отец игумен уже удалялся вон из трапезной, не удостоивая вниманием кланявшихся ему послушников и особо доверенных прихожанок.

История, впрочем, на этом не закончилась, а ее продолжение я случайно слышал от отца Маркелла, с которым отец Нектарий иногда был довольно откровенен.

И снился отцу Нектарию в тот день странный сон, будто он благополучно преставился и в роскошном золототканом одеянии предстал перед Господним троном, на котором сиял и сверкал невидимый отсюда снизу Господь.

По мере того, как почивший Нектарий все ближе и ближе подходил к Трону, сияющий свет перед ним становился все тусклее, все тревожнее и наконец вместо яркого блеска над Троном за клубился серый туман, и из этого клубящегося тумана вышел навстречу Нектарию какой-то невзрачный, неопрятный и скособоченный человечек с подвязанной щекой и маленькими, сердитыми глазами, которые так и впились в отца наместника, заставив того невольно подозревать, что все происходящее, кажется, складывалось не совсем так, как он ожидал.

– Вот, – сказал Нектарий, показывая на мешок, который он держал в руке. – Сберег, что называется, от врагов матери нашей православной Церкви. Все до копеечки.

– Что-то я не припомню, что распоряжался что-нибудь беречь, – сказал неопрятный мужчина, безглаголиво морща лоб и

глядя на мешок. — Что это?

— Это? — переспросил Нектарий, перекладывая мешок из одной руки в другую. — Так ведь мешок это.

— Зачем же ты сюда с мешком-то явился? — спросил мужчина. — Тут все-таки Царство Небесное, не хухры, извиняюсь, мухры.

— Так ведь как же? — с недоумением спросил Нектарий, оглядываясь вокруг, словно ожидая от кого-то помощи. — Сказано же было, кто в малом верен, тот будет верен и в великом. Вот я и подумал.

— Долго копил-то? — спросил из тьмы мужчина и, похоже, даже с некоторым сочувствием.

— Так ведь всю жизнь, — ответил Нектарий, чувствуя некоторое облегчение и даже гордость за то, что сберег зримые плоды своего скромного подвига. — Помню, как в Чимкенте, еще малявка, а уже коплю, и медь коплю, и серебро... Копейка к копейке, а приятно.

Однако вместо похвалы и благодарностей с Трона раздался неприятный, скрипучий смех, о котором и сказать-то поначалу было трудно, что это именно смех, а не какая-нибудь там ерунда на постном масле, на которую серьезные люди не стали бы даже и внимание-то обращать.

— Копейка, стало быть, к копейке, — сказал этот голос, делаясь глуше и словно охватывая все видимое и невидимое пространство клубящимся темным горизонтом, над которым полыхали бесшумные молнии.

– Именно, – подтвердил отец Нектарий, почувствовав вдруг какую-то смутную тревогу, которая негромко отозвалась у него в затылке, пробежала ознобом по спине да заодно простучала быстрым стуком по позвоночнику.

Тут и царящий вокруг мрак как-то быстро и легко разошелся, и отец Нектарий вдруг увидел, что этот самый неопрятный и совершенно несимпатичный человек, оказывается, как две капли воды был похож на самого отца Нектария, причем сходство это было настолько поразительное, что отец наместник на мгновение даже присел от неожиданности, а присев, быстро прочитал «Отче наш». Когда же он снова выпрямился, то увидел, что этот самый второй Нектарий, продолжая сверлить первого Нектария злобными глазами, вдруг попытался вырвать у него из рук заветный мешок и, рванув тесьму, быстро запустил в него руку, одновременно тесня настоящего Нектария в сторону, подталкивая его коленами и брызгая слюной.

– Нет!.. Нет!.. Нет! – вопил отец Нектарий, опасаясь, что из развязанного мешка вот-вот вылетят, разлетевшись в разные стороны, разноцветные бумажки. – Мое!.. Мое!.. Мое!

– Это я настоящий!.. – сипел незванный гость, пытаясь ударить наместника ногой. – Я!.. Я!.. Я!

– Да уж конечно, настоящий, – отвечал наместник, пытаясь побольнее пройтись по ногам надоедливому двойнику. – Видели мы таких настоящих, как же. Небось и ста рублей-то от тысячи не отличишь при надобности, а туда же... Деньги

чужие считать, ишь чего надумал, бездельник!

Сказав это, он изо всех сил толкнул своего двойника, так что тот отлетел в сторону и немедленно исчез. Вместо него опять перед отцом Нектарием появился недавний помятый мужчина с перекошенным лицом.

– Что же это ты, родной, хулиганишь – сказал он, вновь показываясь в поле зрения. – Тут ведь не Гайд-парк. Кричишь, как будто тебя режут.

– Так ведь деньги же, деньги, – сказал отец игумен, помогая себе жестикуляцией. – Не просто же так.

– Ах, деньги, – сказал мужчина и засмеялся. – Ты, может, не знаешь, милый, но только в Царствии Небесном денег не бывает.

– Нет, – сказал наместник, пытаясь понять услышанное. – Как это такое, не бывает?

– А вот так, – сказал мужчина и зачем-то показал пальцем вверх.

– Не может такого быть, – сказал отец наместник, широко открыв глаза. – Как же это без денег-то?.. Это ведь непорядок.

– Еще какой, – согласился с ним собеседник. – Иной раз даже засомневаешься, туда ли ты вообще попал.

– Не может этого быть, ей-богу, – тоскуя, повторил наместник. Потом он открыл рот и громко закричал, чувствуя, как мрак вновь начал заливать все пространство сна.

– Не может быть! – кричал он, пугая окруживших его

ангелов, которые от такого крика бросились врассыпную и остановились, только почувствовав себя в безопасности.

– Ах ты, дурачок, дурачок, – ласково сказал с высоты Тро-на давнишний мужик. – Брось этот дурацкий мешок и под-нимайся ко мне... Сам посуди – пока ты сам, своими руками его не выбросишь, никто за тебя этого не сделает.

– Не могу я, – сказал наместник, по-прежнему вцепив-шись мертвой хваткой в драгоценный мешок. – Деньги все-таки.

– Тогда прощай, – сказал его собеседник, и сон кончился.

12. Шашка отца Иова

Глубины человеческой души, как известно, никому не ведомы и не поддаются ни исчислению, ни поверхностному толкованию, ни ссылкам на те или иные авторитеты, – одним словом, ничему тому, что худо-бедно примиряет нас сегодня с мнимым хаосом повседневной жизни. Однако время от времени случается, что эти глубины вдруг позволяют нам заметить на своей поверхности кой-какие детали и подробности, которых не замечали прежде, и тогда, вглядываясь в их молчание, мы начинаем узнавать какую-то другую изнанку жизни, о которой никогда и не догадывались.

В качестве примера, я думаю, можно было бы привести историю монастырского духовника отца Иова, который по каким-то совершенно непонятным причинам считал себя выходцем из солнечной казачьей вольницы, тогда как по всему выходило, что он был выходцем из мест прямо противоположных, что и было засвидетельствовано хранящимися у отца Нектария соответствующими документами.

Впрочем, документы документами, а живое, непосредственное чувство имело, конечно, больше значения, чем какие-то там сухие строчки канцелярских записей, которые уже одним тем вызывали сомнение, что томились в стальном сейфе и не могли предоставить в свое доказательство ниче-

го, кроме мертвых слов и сомнительных цифр. В этом чувстве потаенная страсть к казацкой жизни нет-нет, да и давала о себе знать то мурлыканьем какой-нибудь удалой казацкой песни, то умелым и непонятно откуда взявшимся обращением с лошадьми, а то и какими-то залихватским словечками, которые на поверку оказывались почерпнутыми из неведомого казацкого лексикона.

Многое, слишком многое напоминало в келье отца Иова о его тщательно скрываемой тайне. На подоконнике келии, в подтверждение сказанного, нашли себе место два десятка керамических фигурок, изображающих казаков на лошадях и без, сражающихся, стреляющих, рубящих и колющих, а чуть ниже иконостаса, после маленьких иконок второстепенных святых висела застекленная в рамке литография известной картины Репина «Казак пишет письмо турецкому султану».

Но больше всего хотел отец Иов иметь боевую шашку – этакую изогнутую красавицу, какая была у него на одной фотографии, которую он вырвал когда-то из какого-то календаря и повесил за шкафом, надеясь, что никто туда не заглянет и не станет допытываться о содержании этой фотографии, где был изображен солидный казак в папахе, который скакал на врага, обнажив над головой шашку и, видимо, подбадривая криком и себя, и своих товарищей. Впрочем, во избежание путаницы, так, на всякий случай, надпись под фотографией утверждала, что на ней изображен никакой не казак, а святой Георгий, убивающий, к вящей славе Божьей, дракона.

Впрочем, и без всякой фотографии отец Иов уже давно заметил мистическую связь, существующую между ним и боевой казацкой шашкой, так что стоило только случиться какой-нибудь неприятности, например, появлению на горизонте отца наместника или началу чрезвычайно громкого храпа отца Тимофея, как правая рука его рефлекторно начинала тянуться туда, где когда-то, много лет назад, у его дедушек и прадедушек висела у изголовья шашка, один только вид которой должен был недвусмысленно указывать присутствующим, за какие рамки им ни в коем случае не стоило бы выходить.

Увы! В реальной жизни все было далеко не так идеально, как хотелось бы, так что всегда некстати появлявшийся отец Нектарий по-прежнему вечно ворчал и ругался, а братия не ходила ни на братский час, ни на чтения Псалтири и все норовила исчезнуть сразу после обеда, выдумывая себе в оправдание сомнительные дела и нелепые занятия.

Слушать выговоры отца наместника было, конечно, так же тошнехонько, как и смотреть на отлынивавшую от молитвы братию, тем более что мистическая связь между отцом Иовом и виртуальным оружием ни в коем случае со временем не слабела, а, напротив, крепчала все сильнее и сильнее, так что правая рука его – случись такая необходимость – прямо-таки рвалась налево, нервно перебирая пальцами в поисках успокаивающей рукоятки, а потом разочарованно отступала назад, и отец Иов чувствовал горечь и недоумение пе-

ред своей потаенной мечтой.

Конечно, для мистических встреч оставалась еще ночь, когда, кажется, ничто уже не препятствовало обратиться к волшебству и чудесам, вглядываясь в окружающую тебя бесконечную тьму, готовую вот-вот открыть тебе все свои богатства, среди которых затерялось и это нехитрое стальное чудо, которое всегда говорило своему хозяину только «да».

И вот она приходила к нему во сне, эта прекрасная шашка, чьи ножны были богато инкрустированы драгоценными камнями, а по лезвию змеилась почти невидимая надпись про Бога, Царя и Отечество. В этих снах шашка была продолжением самого отца Иова, она летала, со свистом разрезая воздух, и вместе с ней летел и сам монастырский духовник, верша свой праведный суд над силами зла, которые чаще всего возникали в знакомом образе отца игумена, грозившего отцу Иову большим столовым ножом и обещавшего вскоре добраться до него, что конечно было смешно тому, кто держал в руке это остро наточенное и не знающее поражения лезвие.

– Господи! – говорил он не устами, а сердцем, которое было открыто и трепетало от восторга. – Господь Всемогуший!.. Подай мне, недостойному, шашку колюще-режущую, чтобы я мог достойно наказать врагов Твоих и сотрясти ненавидящих Тебя!

И Господь, конечно, ответил ему, но ответил опять-таки по-своему, так что даже непонятно было, говорит Он серьезно или шутит.

– Мы тут больше по части милосердия, сынок, – сказал Господь, откашливаясь. – Милосердим все, что еще милосердию поддается... И, обрати внимание, не без успеха.

Услышанное было непонятно и в чем-то даже немного сомнительно.

– Что ж? И отца Павла тоже милосердить будете? – спрашивал отец Иов, недоумевая и морща лоб.

А Господь с незримой высоты, вновь отвечал ему:

– Непременно.

– А как же отец игумен? – не унимался отец Иов. – Что, и его тоже?

– И его, – говорил Господь, загадочно улыбаясь.

– Где же тогда справедливость? – спрашивал отец Иов, выскальзывая из своего сна. – Где, извиняюсь, основа морали, без которой не мыслит себя ни одна религия? Где мировой порядок, свидетельствующий о величии Творца?

– Ишь чего, – сказал Господь, приглашая ангелов посмеяться вместе с ним, чем они немедленно и воспользовались. – Основа морали... Тебе что? Мало Господа твоего, что ты еще желаешь поклоняться неизвестно чему?

– Как же это неизвестно чему, – бормотал отец Иов, путаясь в обрывках сна. – Ты ведь сам, Господи, говорил, – возлюби ближнего своего и все такое.

В ответ вновь раздался громкий хохот ангелов.

– Ну, будет, будет, – останавливал смеющихся ангелов Господь. – Вам только повод дай, так любого засмеете... Он

ведь не виноват, что у него такие в голове куцые мысли живут... Посострадательнее надо быть, а остальное приложится...

И странное дело – прошло совсем немного времени, и Господь удовлетворил просьбу отца Иова и одарил его колюще-режущей красавицей, хотя, может, и не совсем такой, какой ему хотелось бы.

Шашку принес в монастырь какой-то мальчишка, который откопал ее на своем участке и теперь хотел поменять на хорошую удочку. У принесенной шашки не было рукоятки и был обломан колющий конец, да и вся она, ржавая и смешная, больше напоминала кусок строительной арматуры, а не достойное боевое оружие. И тем не менее, это была именно *она*, – та самая, которую отец Иов часто чувствовал у своего левого бедра и которая так долго приходила к нему в сновидениях, рассказывая о какой-то другой, далекой и счастливой жизни, которая не поддается ни заклинаниям, ни теоретическим рассуждениям, но сама находит тебя, когда посчитает это нужным.

... Конечно, мы не знаем и никогда, наверное, не узнаем, чем руководствовался Господь, вручая отцу Иову эту сомнительную ржавую шашку, которую тот немедленно повесил за шкафом, но мы можем быть совершенно уверены, что это был вовсе не акт отвлеченной справедливости, о которой так любят распространяться религиозные деятели всех рангов, – и это так же верно, как и то, что в своих молитвах и воплях

мы, как правило, уповаем не на справедливость, а на нечто совсем другое, чему, возможно, даже нет названия на куцем человеческом языке.

13. Наставление больному

Службой отец Нектарий себя особенно не утруждал, справедливо полагая, что Бог и так видит его, Нектария, рвение, чтобы ему еще вставать в такую рань и торопиться на братский час. Поэтому ходил он на службу, главным образом, по воскресениям да по праздникам, а иногда, случалось, и по субботам, что можно было посчитать прямо-таки исключительным геройством, за которое милость Господня не заставит долго себя ждать. Если же случалось, что попадался ему какой-нибудь нерадивый монах, который отлынивал от службы, то тут уж отец Нектарий был неутомим и напоминал сам себе Христа, изгоняющего из Храма разных нечестивцев, место которых не в монастыре, а в самой преисподней.

«Ты в церкви-то сегодня был?» – спрашивал он какого-нибудь бледного и кашляющего монаха, который вышел на десять минут подышать свежим воздухом.

«Болею я», – отвечал монах и заливался в подтверждение кашлем.

«В церковь ходить надо, – отец Нектарий отворачивался от кашляющего монаха. – Какой ты пример всем подаешь, ты подумал?... Подумал ты или нет?»

«Так ведь болею», – монах для пущей убедительности стучал кулаком по груди.

«Ты кулаками-то не махай, – не унимался Нектарий, с отворачиванием смотря на лживого собеседника. – Болеть болеешь, а сам вон бегаешь, как козел по огороду... После обеда пойдешь посуду мыть. Понял, что ли?»

«Понял», – говорил монах, радуясь, что так легко отделался.

«И сто земных, и чтоб без обману», – добавлял Нектарий.

«Так ведь температура», – болящий уже проклинал час, когда ему вздумалось прогуляться по двору и подышать чистым воздухом.

«У Христа, у него тоже температура была, – вполне резонно замечал отец Нектарий, радуясь удачному ответу. – Да только ему это не помешало таких дураков, как ты, спасти!»

«Я-то, вон, не Христос, слава Богу», – негромко возражал болезный, дергая за ручку двери и желая отцу наместнику немедленно провалиться в тартарары.

«Оно и видно, – наместник сверлил болящего злобным взглядом. – Давай-ка отправляйся, и чтоб без обмана у меня, пожалуйста».

«А как же температура? – робко говорил болящий. – Ее вроде тоже Бог посылает».

«Поговори еще у меня», – обрывал его Нектарий, поворачиваясь и давая понять, что воспитательный процесс, наконец, завершился. Затем он исчезал, напоследок хлопнув дверью и оставляя болящего один на один с его горькими раздумьями.

Впрочем, заставить монахов ходить на братский час или ночное чтение псалтыри отец Нектарий не мог, хотя бы потому, что, чтобы кого-то заставить, надо было проснуться в шестом часу самому, а это как раз в планы отца наместника никак не входило.

14. Небольшой штрих к характеру наместника

Выйдя как-то раз прогуляться по монастырскому садику с клумбой, отец Нектарий заметил маленькую девочку, сидящую на скамейке.

«Отдыхаем?» – спросил он, усаживаясь рядом.

«Хочу взять благословение в дорогу», – сказала девочка.

«Хорошее дело, – сказал Нектарий, чувствуя себя в одном лице и Кириллом, и Мефодием, и вспоминая, что говорил Господь по поводу детей, каковые должны были приходить к Нему беспрепятственно в любое время дня и ночи. – Если отправляешься в путь, то надо брать благословение, потому что так надо. Так нам Господь заповедовал».

«Я знаю», – сказала девочка.

«Вот и хорошо, что знаешь... Ну-ка, иди сюда, я тебя благословлю».

Но девочка сказала:

«А я хочу взять благословение у отца Тимофея или у отца Иова».

Лицо наместника сразу побелело.

«Это почему же у Иова?» – спросил он внезапно охрипшим голосом.

«Потому», – сказала девочка и отодвинулась от отца наместника, словно опасаясь, что отец Нектарий благословит ее насильно.

«Ну и хотя», – сказал наместник, поднимаясь со скамьи и чувствуя, как знакомая горечь непонимания разрывает ему грудь, заставляя сдерживаться изо всех сил, чтобы не ударить ногой по скамейке или не опрокинуть мусорное ведро, или же не обозвать, наконец, эту маленькую паршивку бранным словом, от которого пожухла бы придорожная трава.

Что-то не клеилось в этой жизни, что-то было не так, как следовало, вот только непонятно было, что же именно было это *не так*, которое заставляло его глухо стонать по ночам и пить с вечера приготовленный бокал красного вина, чтобы побороть бессонницу?

Было время, когда он ждал по окончании воскресной службы, когда последний прихожанин покинет храм, и тогда он выходил из храма сам, чтобы быть немедленно окруженным толпой прихожан, которые рады были услышать от него хотя бы небольшое наставление, поймать его улыбку, получить благословение, перекинуться парой ни к чему не обязывающих слов.

«Придите ко мне все страждущие – было написано тогда на лице отца Нектария – и я успокою вас».

Наверное, в этом заключалась его великая тайна – подобно всем тиранам мира, он втайне мечтал о том, чтобы быть для всех любящим отцом и авторитетным наставником, ко-

торого при этом еще бы бескорыстно и самозабвенно любили и готовы были отдать за отца Нектария самое дорогое, что у них было.

Тогда он чувствовал за своей спиной шелест ангельских крыльев, под которыми он готов был объединить если не всех, то, по крайней мере, тех, кто его любил, – эти огромные белые крылья, которые могли бы накормить всех голодных, напоить всех жаждущих и исцелить всех болящих, как и написано было во всех тех книгах, которые отец Нектарий когда-то читал, но со временем стал забывать, полагая, что есть в мире дела и поважнее, чем старые книги, пусть даже и такие, которые читают с амвона, прежде чем вино обратится в кровь, а хлеб в плоть.

Однако время шло, а прихожан перед храмом почему-то становилось все меньше и меньше, и скоро, выходя после воскресной службы из храма, отец Нектарий почти со страхом ожидал всякий раз, сколько человек встретят его и сколько подойдут под благословение.

А потом пришел день, когда, выйдя после воскресной службы на площадку перед храмом, отец Нектарий с изумлением увидел, что никто не спешит ему навстречу, никто не складывает руки для благословения, никто не улыбается и не кланяется ему. Пуста была площадка. Пусты лестницы, ведущие вниз. Не толпился народ ни у Святых ворот, ни у могилы Пушкина. Разве что какие-нибудь голоштаные туристы заглядывали ненадолго в храм и, не пожертвовав ни

копейки, спешили на свежий воздух.

И еще увидел отец Нектарий, что вся присутствующая воскресная братия прекрасно видит его позор и вместе с ними его видят невидимые миру ангелы, чей смех, словно колокольчики, раздавался прямо у него в ушах, напоминая давно прошедшие детские праздники, которые уже никогда не вернутся.

И горечь его, надо полагать, была весьма велика.

15. Мелочи из жизни келейника Маркелла

Жизнь келейника Маркелла была печальна и поучительна, как печальна и поучительна бывает жизнь большинства келейников и келейниц, всецело отданных в беспредельную власть предрержащих и почти повально утративших понимание о различии между смирением и самодурством монахов.

Можно было бы сказать, что Маркелл родился в монастыре и при этом родился именно в качестве келейника, то есть готовый немедленно приступить к своим обязанностям: чистить, прибирать, вытирать пыль, знать все о гардеробе наместника, заботиться об облачении, бегать, распоряжаться, читать переписку, мыть окна, вести разного рода отчетности – одним словом, делать всю мыслимую и немыслимую работу, оставив отцу наместнику только тяжелый труд молитвенника и предстоятеля перед Царицей небесной за всю монашескую братию, всю страну и весь крещеный мир.

Худенький, невысокий, с ввалившимися щеками и острым носом, Маркелл появился в монастыре, отслужив в армии, чтобы потом несколько лет быть келейником у отца наместника, и так этому последнему полюбился, что тот долгое время не хотел отпускать Маркелла из келейников, для

чего он всегда имел сотню важных причин, среди которых не последняя касалась кулинарных способностей Маркелла, которые были по достоинству оценены и отцом наместником, и даже самим владыкой Евсевием, как-то раз заметившим, что не будь он владыкой, он хотел бы быть поваром, готовящим так, как это получалось у Маркелла. Когда же расставание с отцом игуменом стало, благодаря заступничеству владыки Евсевия, неизбежным, отец Нектарий специально подгадал рукоположение Маркелла на Маркелла Апамейского, так что Маркелл как был Маркеллом, так им и остался, поменяв лишь святого, а наместнику, в свою очередь, не пришлось тратить время, чтобы осваивать новое имя, на что у него не было, разумеется, никакого желания.

Вообще говоря, Маркелл был скорее похож на мальчика-подростка, который натянул на себя неосторожно оставленный кем-то черный подрясник и в таком виде принялся дурачить проходящих мимо людей.

Первое, что бросалось в глаза в келье Маркелла, было большое количество механических игрушек, главным образом, самолетов и вертолетов, которые – если не было поблизости наместника – Маркелл выносил во двор и устраивал нечто похожее на боевой смотр, когда машины, слегка жужжа и мигая бортовыми огнями, поднимались в воздух и кружили над монастырем, то опускаясь, то вновь поднимаясь, и тогда по лицу Маркелла можно было легко прочесть, что он, наконец, вполне и основательно счастлив.

В один из таких счастливых смотров в конце аллеи показалась никем не ожидаемая фигура наместника.

Появление это было столь неожиданно, что пульт управления в руках Маркелла дрогнул, и модель тяжелого военного вертолета с размаху опустилась прямо на голову игумену.

В ответ наместник присел и издал такой звук, что греющиеся на солнце кошки настороженно подняли уши и повернули головы, в то время как вертолет каким-то образом умудрился не только зацепиться за клобук отца наместника, но и подняться вместе с ним над пустынным в этот час двором, после чего вертолет завертелся на одном месте и рухнул к ногам наместника.

Какое-то время во дворе царило напряженное молчание. Затем отец Нектарий издал боевой клич и принялся топтать ни в чем не повинный вертолет, сопровождая эти прыжки какими-то утробными звуками, отдаленно напоминающими стремительное журчание спускаемого унитаза.

«Вот тебе... Вот тебе... Вот тебе!» – прыгал отец игумен, поднимая пыль и оставляя в недоумении сидящих на кустах птичек. Потом он перестал прыгать и изо всей силы поддал погибший вертолет, так что тот описал дугу и свалился прямо в ноги Маркелла. По лбу и щекам наместника текли капли пота.

«Ломать-то было зачем», – сказал Маркелл, глядя на искореженные останки вертолета.

«А ты смирайся! – закричал наместник, наливаясь кровью

и поднимая с земли искалеченный клобук. – Смиряться, а не вещи порти!.. Ишь, взяли манеру – в игрушки в монастыре играть!.. А если бы ты мне, допустим, глаз выбил?»

«Ну ведь не выбил же», – проворчал упрямый Маркелл, подбирая остатки вертолета.

«Вот и смиряться теперь, потому что не выбил!» – закричал какую-то несуразицу наместник, да при этом так громко, что птички поспешно снялись со своих мест, а кошки отползли от солнца в тень.

Чего-чего, а смирения отец Маркелл за время своего келейничества хлебнул от наместника сполна, тем более что все педагогические таланты отца Нектария ограничивались одним единственным пожеланием, чтобы обучаемый смирился, смирился и ещё раз смирился, если не хочет, чтобы отец игумен перешел к более суровым методам воспитания.

«А ты смиряться», – говорил наместник всякий раз, когда Маркелл собирался открыть рот, чтобы возразить или даже просто вставить безобидную реплику, которая почему-то сердила и раздражала Нектария.

«Ты здесь зачем? – спрашивал он, глядя на Маркелла сверху вниз и не давая ему возможности ответить. – Ты здесь затем, чтобы смиряться. Вот и смиряться, если не хочешь, чтобы я тебе чего-нибудь сломал, а заодно благодари Бога, что ты попал в руки ко мне, а не в руки какого-нибудь нехристя вроде вон отца Тимофея».

Ради справедливости следовало бы, между тем, отметить,

что, в свою очередь, и самого отца наместника следовало бы считать попавшим, некоторым образом, в руки отца Маркелла, ибо – если пренебречь мнением отца наместника – был Маркелл на самом деле пунктуален, обязателен, сострадателен, умен, обстоятелен, верен, изобретателен и к тому же всегда входил в положение другого, – то есть был прямой противоположностью отцу наместнику, благодаря чему время от времени случались в наместничьих покоях невидимые миру слезы и видимые миру синяки и ссадины, чье происхождение сам Маркелл охотно объяснял неудачным падением с лестницы, или неудачным падением с велосипеда, или даже неудачной попыткой погладить кошку, которых здесь было видимо-невидимо.

Одна из таких неудачных попыток произошла однажды в покоях отца Нектария, когда он за что-то выговаривал отцу Маркеллу, пытаясь перекричать самого себя, что, как правило, могут себе позволить только настоящие виртуозы крика, знающие, что обычно такого рода звуки заканчиваются более или менее серьезным мордобоем.

Чем его разозлил Маркелл – так и осталось навеки неизвестным. Говорили, правда, что дело было совсем не в Маркелле, а в отце Несторе, который, не выдержав наместнического самодурства, написал владыке несколько обличительных писем, а тот, особо себя не утруждая, отправил переписку все тому же отцу Нектарии, а он, ознакомившись с ней, незамедлительно обрушил свой праведный гнев на того, кто

был ближе всех, а именно на Маркелла и на отца Нестора, который – как в плохой пьесе – как раз и появился в поле зрения отца наместника и был немедленно смешан с землей и назван Антихристом и Вельзевулом, что в устах отца Нектария звучало даже вполне прилично. При этом все тычки и удары, конечно, доставались поначалу бедному отцу Маркеллу, но потом досталось и отцу Нестору, который хоть и знал хорошо известный текст, призывающий терпящего насилие немедленно подставить вторую щеку, однако, будучи человеком по природе благородным, не раздумывая, бросился выручать товарища, которому к этому времени уже сломали нос и повредили руку.

Должно быть, это была сцена – два худеньких, немощных и слабосильных монаха пытаются изо всей мочи совладать с истошно вопящим наместником, тогда как ангелы небесные не переставая хохочут и свистят, слыша этот почти неприличный писклявый голос отца наместника и видя, как недавно вымытый пол покрывается пятнами крови.

«Вон! – кричал между тем отец наместник, делаясь сначала свинцово-бледным, а затем неестественно багровым, что случалось с ним всякий раз, когда он принимал участие в воспитательном процессе. – Вон из монастыря, мерзавцы!.. И чтоб я больше вашей ноги тут не видел!.. Экие сволочи, прости Господи!.. На меня вздумал жаловаться, да еще владыке... Ах вы, мерзавцы!.. Чтобы утром вашего духа тут не было, еретики!.. На игумена руку подняли, мерзавцы!»

Силы были, конечно, неравны, ибо ко всему прочему был отец наместник, как мы уже видели, и горяч, и бесстрашен, и гневлив, и к тому же не всегда верно понимал, где кончается его педагогический талант, а где начинается царство его самодурства, каприза и хамства.

Через сорок минут после начала битвы машина скорой помощи увезла отца Маркелла в больницу, а отец Нестор отправился в свою келью собирать вещи, чтобы завтра утром уехать с первым же автобусом в Псков.

Как провел остаток ночи отец Нектарий, мы не знаем. Можно, впрочем, представить себе, что, проснувшись среди ночи, игумен позвал Маркелла, желая, чтобы тот принес ему стакан холодной воды. Когда же никто не отозвался, он вдруг вспомнил вчерашний скандал и горько устыдился своего поведения, чувствуя, как краска заливает ему лицо. Потом, кряхтя и вздыхая, он слез со своего ложа и, полный раскаянья, вознес перед своим иконостасом горькие слова слезного покаяния, которые поднялись над грешной землей и в ту же минуту достигли небесного Престола. И был голос с небес, сказавший:

«Се сын Мой возлюбленный, на котором Мое благоволение. Ибо был он от Меня далек, но теперь принес достойные плоды покаяния и прощен».

«Слыхал? – сказал наместник, обращаясь к невидимому Маркеллу и чувствуя, как целительный бальзам прощения обволакивает его раны. – А ты говоришь: «наместник»...

Вот тебе и «наместник». Будешь теперь знать, как под горячую руку попадаться... А нос починишь, будет как новенький. Тем более что ты у меня столько вещей перебил, что лучше и не вспоминать...»

Последнее замечание требовало небольшого пояснения.

Дело было в том, что отец наместник питал небольшую и вполне, в общем-то, простительную страсть к разного рода домашним безделушкам, то есть ко всем этим мраморным слоникам, русалкам, фарфоровым чашечкам, ко всей этой посудной мелочи и статуэткам, которые смотрели на тебя из всех углов наместничьих покоев и словно приглашали вернуться назад, в давно ушедшее детство, которое прятали за собой все эти стеклянные и фарфоровые чудеса. Страсть эта была, повторяю, совсем безобидная, но все же это была страсть, с которой Маркелл, как настоящий монах, пытался бороться и иногда даже вполне удачно.

«Вот ведь умеют делать, – говорил отец наместник, когда очередная финтифлюшка занимала свое место среди прочих достойных бутылочек и статуэток. – Хоть и католики, а умеют».

«Протестанты, – поправлял его Маркелл. – Тут написано – Ганновер. Значит, это протестанты».

«А ты смиряйся, – сердито говорил отец наместник, не любивший, чтобы его поправляли, тем более, чтобы это делал какой-то там келейник. – Ишь, тоже мне, специалист нашелся. Лучше «Отче наш» про себя прочитай. Все больше

толку будет».

Судьба этой протестантской финтифлюшки, впрочем, была печальна, как и судьба многих стеклянных предметов, которые попадали рано или поздно в руки Маркелла. Вытирая как-то с полки пыль, Маркелл случайно задел это протестантское чудо, которое нет, чтобы упасть самому, так еще потянуло за собой все прочие стеклянные чудеса: все эти разноцветные фигурки, глиняные колокольчики и фарфоровые тарелочки, с которых уже никто и никогда не будет есть. Последним со страшным грохотом упал и разбился стеклянный подносик, на котором был изображен Александр Сергеевич Пушкин, стоящий на берегу моря.

Вышедший на шум из внутренних покоев игумен остановился и, посмотрев на масштабы разрушений, тяжело вздохнул и сказал:

«Триста утренних земных поклонов».

И вздохнув, добавил:

«И триста вечерних».

Так, во всяком случае, рассказывал сам Маркелл, демонстрируя свежие следы от падения с лестницы.

16. Чем может быть чревато желание путешествовать

Случилось мне однажды прогуливаться по Луговке в районе часовенки с давно покосившимся крестом. Дело шло к обеду, и я уже собирался поворачивать в сторону дома, как вдруг увидел Маркелла, который выходил из часовни и при этом с таким довольным лицом, словно ему, наконец, удалось что-то не слишком приличное, с которым теперь было покончено, так что в пору было радоваться и улыбаться.

Заметив меня, Маркелл попытался по обыкновению сделать постное лицо, что он делал всякий раз, когда вспоминал о своем монашестве. Затем он подошел ко мне и опять-таки по-монашески сдержано поздоровался.

Впрочем, его хватило ненадолго. Уже через минуту он смеялся и рассказывал о монастырских делах, в которых – оставаясь человеком глубоко верующим – всегда умел найти смешные стороны.

Потом мы пошли к святому источнику и вволю повалялись там на уже высокой июньской траве, глядя на высокое небо и слушая, как журчит луговский ручей.

– А ты чего не на обеде? – спросил я, почувствовав, наконец, голод.

– Я с сегодняшнего дня в отпуску, – ответил Маркелл.

– Тогда почему не уезжаешь? – спросил я, чувствуя, что тут, пожалуй, скрывается что-то любопытное.

Услышав мой вопрос, Маркелл сразу поскучнел, глубоко вздохнул и посмотрел в сторону монастыря. Однако на вопрос мой ответил, взяв с меня слово никому об этом покамест не рассказывать.

– Дело в том, что один человек тоже собирается в Петербург, – немного смущенно сказал Маркелл и засмеялся. – Ну, вы понимаете.

– И ты не хочешь с ним ехать, – догадался я.

– Не хочу, – твердо сказал Маркелл.

– Так скажи ему, – посоветовал я, удивляясь такой ерунде.

– Он обидится, – сказал Маркелл и вновь засмеялся. – Он обидится и будет потом обижаться весь год, если не больше. Поэтому я решил пожить немного в часовне, пока он не уедет.

– Вот в этой? – спросил я, чувствуя, что мое уважение к Маркеллу стремительно растет не по дням, а по часам.

– Всего два дня, – сказал Маркелл.

– Всего, – сказал я.

– Ну, три, – немного подумав, сказал Маркелл.

В эту минуту солнце вышло из-за леса и осветило все вокруг, но улыбка, которой улыбнулся Маркелл, была гораздо светлее.

– Знаешь, что я тебе скажу, Маркелл? – сказал я, наконец,

решившись. — Мне кажется, я знаю этого человека, с которым ты не хочешь ехать...

— Не сомневаюсь, — ответил Маркелл. — Его все знают.

— Отец Иов, — сказал я шепотом, ожидая, что Маркелл немедленно ответит. Но он только неопределенно пожал плечами и еще раз улыбнулся. Впрочем, и без его ответа все было ясно, ибо ко всем достоинствам и недостаткам отца Иова следовало бы отнести также его полное неумение делать в этой жизни что-либо самостоятельно, принимая на себя ответственность за сделанное и умея, в случае чего, постоять за то, что считал правильным. Если братия собиралась на очередной соборчик, то можно было быть совершенно уверенным, что отец духовник всегда проголосует вместе с большинством, которое, в свою очередь, голосовало так, как требовал того наместник. Если же надо было куда-нибудь ехать, отец Иов обязательно брал с собой кого-то из братии — как это могло случиться с Маркеллом — неважно, лежал ли его путь в далекую Москву или только до святого источника в Луговке. Случалось, что избранная жертва выказывала некоторое недовольство, и тогда отец Иов мягко увещевал ее, шутливо говоря что-нибудь вроде того, что и Господь, мол, тоже терпел и нам велел, или ссылаясь на то, что с апостольских времен было предписано не ходить по одному, а всегда только по двое. Если же это не помогало, то он обращался к авторитету самого наместника, и тогда все сразу становилось на свои места.

Кажется, была и еще одна причина, благодаря которой отец Иов не любил ездить один. Было похоже, что, несмотря на долгое пребывание в монастыстве, он все еще стеснялся своего монашеского одеяния, стеснялся своей камилавки, своей длинной, но жидкой бороды, — и, стесняясь, редко когда появлялся на людях, а если и появлялся, то всегда с кем-то на пару — то с отцом Фалафелем, то с Алипием, а то даже с кем-нибудь из удостоенных такой чести прихожан, — так, как будто сам по себе он боялся взять на себя ответственность за все, что его окружало: и за эти священные монастырские вещи, а еще за этот монастырь и за это глубокое небо, с которого — как рассказывали старцы — Богородица и Архангел Михаил незримо управляют этим незамысловатым монастырьком, —

— а еще за то, что было написано в этих старых книгах, которые он читал, но понимал далеко не все,
— за те слова, которые он сам говорил с амвона,
— и за те, которыми разрешал человека от его грехов,
— и еще за те, что помогают превратить вино в кровь,
— и за свою собственную жизнь, которая иногда казалась совершенно чужой,
— и за жизнь тех, кто окружал его,
— и за тех, кто уже ушел туда, откуда не было возврата никому,
— за колокольный звон,
— и за горящий над монастырем закат,

– и еще за многое другое, так что можно было не без основания предположить, что, случись что-нибудь серьезное, – и все эти вещи окажутся ненужными, сомнительными, лишними, а сам отец Иов – только тенью, бредущей от одного воспоминания к другому...

Все эти давно уже обдуманые мысли вновь пронеслись передо мной, напоминая о том, что на свете, к счастью, можно найти еще и такую вещь, как улыбка Маркелла.

Потом я сказал:

– Ты остолоп, Маркелл. Собирай-ка свои вещи и пошли ко мне. Поживешь у меня столько, сколько тебе надо.

Долго уговаривать Маркелла мне не пришлось. Он вышел из часовенки, держа в руке узелок с вещами и походный, видавший виды чайничек, в котором собирался кипятить себе вечерний чай и который только лишний раз подтверждал серьезность его намерений.

Потом мы пошли домой.

17. Ярмарка

Каждый год в первый воскресный июньский день случалась в Святых горах большая ярмарка. В году, о котором рассказ, пришлась она на 3 июля. Главная улица, идущая мимо монастыря, перекрывалась уже в седьмом часу утра, еще раньше того начинали подъезжать машины, возводились торговые палатки, дребезжали алюминиевые каркасы, хлопала на ветру разноцветная материя, и вот уже целый палаточный город скользил по улице мимо монастыря, спускался по дороге на небольшую площадь, с одной стороны которой стоял двухэтажный универмаг, а с другой выглядывала из кустов выполненная аршинными буквами надпись-заклинание: "Россия, встань и возвышайся!"

Что навевало на разные, чаще всего неприличные, мысли. Теперь вся эта площадь была плотно уставлена палатками и разложенным товаром.

Не отставал от приезжих торговцев и монастырь.

У главного монастырского входа ставили столы, стелили скатерти, раскладывали товар, вешали полог с вышитыми крестами.

К девятому часу ярмарка была уже в разгаре. Толпа валяла, переходя от одной палатки к другой, от обуви к одежде, от одежды к книгам, от книг опять к одежде, затем к ме-

бели на заказ; перепачканные сахарной ватой, пищали дети, а со стороны площади, лежащей за монастырем, доносился соблазнительный запах жареного, с дымком, шашлыка.

Распушив животы, стояли у монастырских ворот отец Нектарий и отец Павел – отец наместник и отец благочинный. Снисходительно посматривая на прущую мимо толпу, перебрасывались короткими замечаниями. Худенький, лысенький, в меховой безрукавке, надетой на подрясник, несмотря на летнее время, суетился отец Зосима, бывший артиллерист, человек молчаливый, но во всем до сухости точный, как, впрочем, и полагалось бывшему военному. Раскладывал на столе все, что можно было разложить, вешал на специально изготовленную вешалку все, что только можно было повесить, громоздил одно на другое – все эти крестики, свечи, вырезанные рукой монастырских умельцев рамочки для иконок и сами иконки, наклеенные на картон и дерево, подсвечники, бутылочки со святой водой, глиняные колокольчики с изображением монастыря – одни поменьше, другие побольше, третьи же – уже совсем огромные, с надписью «Святые горы» или «Святогорский Спас-Успенский монастырь». Ко всему этому тут же выставлялся мед в особых бутылках и глиняных кадучечках, и тоже с надписью "Святые горы", аккуратные стопки церковного календаря, лампадное маслице, ладан из Иерусалима, настенные плакатики с изображением Святейшего и, конечно, святая вода в маленьких и средних симпатичных бутылочках, мысль прода-

вать которую пришла в голову, конечно, отцу благочинному, не уступающему в таких делах пальму первенства никому ни в монастыре, ни во всех, может даже, Пушкинских горах.

Благочинным стал отец Павел недавно, после неожиданного, негаданного и скандального ухода из монастыря прежнего благочинного отца Нестора, и вот теперь по старой привычке к торговым делам, от которой отказаться не было сил, он стоял и смотрел, как отец Зосима неумело и без особого энтузиазма ведет торговлю, нанося тем самым, хоть и не специально, но ощутимо, урон монастырской казне.

«Кто же это так торгует? – говорил отец Павел, нервным шепотом. – Ну кто же так торгует, отец Зосима? Разве я тебя так учил?»

"А что, – говорил Зосима, тоже недавно положенный в иереи – люди подходят, берут, что им надобно... Не волочь же их насильно".

"Что, насильно, что насильно, – бормотал отец Павел, нервно сцепив на своем бесформенном животе пальцы и одновременно допуская на свое вечно хмурое и тоже какое-то бесформенное лицо некое подобие улыбки, обращенной к проходившим мимо потенциальным покупателям. – Это тебе не из пушки стрелять. Тут тебе торговля, а не что".

"Из пушки тоже не каждый стрельнуть может", – резонно замечал бывший майор артиллерии, а ныне отец Зосима, пожалуй, даже с некоторой обидой.

Однако отец благочинный не уступал.

"Из пушки, может и не каждый, – говорил он, видя, как отходит от стола еще один несостоявшийся покупатель, – а вот чтобы так торговать, как ты, так это еще постараться надо... Да ты покупателя-то зови, зови! Не стой, словно идол! Покупатель – он любит, когда к нему со вниманием".

Наконец, не выдержав, отец Павел оттеснял от прилавка сухонького Зосиму и вставал за стол сам. Тусклые, поросычьи глаза его начинали весело блестеть, на вислых щеках проступал румянец. Вдохновение немедленно давало о себе знать во всех его телодвижениях. Грудь распрямлялась и выпирала, поднимая наперсный крест, руки быстро переставляли товар, поправляя допущенные отцом Зосимой оплошности, в наэлектризованной волнении куцей бороде вспыхивали и весело пробегали электрические искры.

Видя это, отец наместник только вздыхал и слегка подавался в сторону, словно опасаясь, что кто-то может заодно и его заподозрить в склонности к торговле.

«Подходи, бери товар православный, – бубнил между тем Павел своей быстрой шепелявой скороговоркой, о которой в монастыре говорили, что у отца Павла во рту воробей свил себе гнездо, пока тот спал. – Крестики, иконки, ладанки, все, что пожелает душа православная...»

Не проходило и трех минут, как вокруг монастырского стола обнаруживалось некоторое многолюдье. Иные подходили из любопытства, послушать, чего там бормочет этот вполне бесформенный поп, другие – поглазеть на товар.

Стоя в некотором отдалении от происходящих торгов, отец Нектарий чувствовал вдруг даже некоторую обиду, что весь этот подходящий народ слушает глупые присказки отца благочинного, а не то, что мог бы сказать им он, отец Нектарий, все-таки не последний человек в мире, не говоря уже о монастыре. Он даже на какое-то мгновение вдруг представлял себе, как этот толпящийся у стола народ вдруг оставил все эти алюминиевые крестики и бумажные иконки и бросился к нему, отцу игумену, целуя ему руки и умоляя поскорее наставить их на путь истинный, и как он, отец игумен, благословив толпу и перекрестившись три раза на восток, отверз свои уста и просветил всех жаждущих истины, напоив их водой живой и вечной, почерпнутой из родника его, отца игумена, мудрости. Уж он бы растолковал им, грешным, что Христос приходил на эту землю, чтобы создать Свою церковь, а стало быть, имел в будущем в виду и его, наместника Нектария, без которого немыслима была и вся церковная полнота.

Наконец сердце отца Нектария не выдерживало.

"Ты ведь все-таки, Павлуша, благочинный, – негромко говорил он, разворачивая к торгующему благочинному свое пухлое, на короткие ножки посаженное тело. – Надо все-таки и меру знать. Пойдем".

"Что ж, что благочинный, – возражал отец Павел, одновременно отсчитывая какому-то покупателю сдачу и следя за прилавком. – Вот я и забочусь, что благочинный, а иначе

кто?.. Мы ведь для себя стараемся, не для чужого дяди какого".

"Для себя-то оно, конечно, для себя, – говорил отец игумен, не замечая некоторой двусмысленности сказанного. – Однако надо ведь и меру, наконец, знать".

"Руками-то не трогай, – наставлял, между тем, благочинный какую-то ветхую старушенцию, которой приглянулся глиняный колокольчик. – Смотреть-то смотри, а трогать не надо... Мера, она всякая бывает, – отвечал он затем отцу игумену, поворачиваясь к нему вполоборота, чтобы видеть одновременно и его, и то, что творилось возле прилавка. – Иной вон торгует себе в меру, как наш вон артиллерист, а в результате – один только убыток имеем и ничего больше".

"Так и ставьте тогда кого-нибудь другого, если от меня одни только убытки", – говорил Зосима, впрочем, не обижаясь, а так, больше для формы.

"И поставим, если надо будет, не волнуйся", – отвечал отец Павел, подкладывая десятки к десяткам, а пятидесятки к пятидесяткам и не забывая при этом держать в поле зрения весь прилавок и отвечать на вопросы.

"Ну, Бог с тобой", – говорил отец Нектарий, скользя взглядом по валящей мимо толпе, выхватывая из нее то красивое женское личико, то какое-нибудь знакомое лицо, то, напротив, совсем незнакомое, но напоминающее кого-то из знакомых или, наоборот, какое-нибудь очень знакомое, которое, стоило ему подойти ближе, становилось совсем незнакомым.

Иногда подходила под благословение прихожанка, кланялась и ловила руку отца Нектария, чтобы запечатлеть на ней поцелуй.

"Во имя..." – говорил тогда отец Нектарий, рисуя над склоненной перед ним головой какую-то загогулину вместо креста и не утруждая себя дальнейшим продолжением, потому что мысли его уже давно были где-то совсем далеко, не то на кухне, где уже вовсю готовился праздничный обед, не то на архиерейском обеде, на котором сподобилось ему быть на прошлой неделе и где подавали какую-то заморскую рыбку, название которой отец Нектарий хотел запомнить, а потом запаматовал и помнил только это нежное, слегка с кислинкой, рыбье мясо, которое так ему понравилось, что он захотел отдать насчет нее распоряжение эконому, отцу Александру, потому что – что уж тут говорить – по своему положению в церковной иерархии архиерей был, разумеется, выше отца наместника, но вот по части кухонных чудес с отцом Нектарием и его поварами мог, пожалуй, сравниться один только Ангел небесный, да и тот не всегда.

18. Валя Бутрина

1

Между тем, людское море все прибывало и прибывало. Вот прошел, держа на руках дочку, Вова Немец, оставивший хлебосольную и счастливую Германию ради нищей и холодной России, которая не уставала поражать его своей сомнительной неординарностью.

А за Вовой – Коля Маленький, который прославился тем, что мог починить любую технику, но предпочитал чинить автомобили. Я сам присутствовал однажды при том, как Коля на спор вернул к жизни сгоревший компрессор, от которого отказались все электрики.

Тут же за Колей, заложив руки за спину, шел Леша Иванов, который был первым послевоенным ребенком в Заповеднике, что не мешало ему, впрочем, иметь целую кучу различных достоинств, которые время от времени он демонстрировал родным, близким и окружающим.

Между тем, народ жил своей обычной ярмарочной жизнью, то есть приценивался, примерял, интересовался, узна-

вал, делал равнодушные лица, исчезал за закрытой занавеской, сомневался, щупал материю, и все было бы замечательно и просто, если бы не этот звук женских подковок, который донесся вдруг со стороны монастыря и теперь быстро приближался, легко перекрывая все прочие звуки.

Подковки принадлежали ведущему специалисту пушкинского заповедника Валентине Бутриной, которая, по моему скромному мнению, представляла собой лучший образец пушкиногорского *хомо сапиенса*, — если, конечно, мне будет позволено так выразиться, надеясь, что меня поймут правильно.

Жизнь Валентины, насколько я могу судить, можно было разделить на две части — до крещения и после него.

Как недавно крещеная, она допустила все ошибки неопитства: например, она все время кого-то учила, все время кого-то просвещала, все время кого-то обличала, все время требовала, чтобы все начинали немедленно ходить в церковь, читать святых отцов и просыпаться к ранней литургии.

Вот типичная картинка того времени.

Слышно цоканье подковок.

В храме появляется Валентина.

Ни на кого не глядя, грозно проходит, стуча подковками, к алтарю и громко и отчетливо говорит, ни к кому в особенности не обращаясь:

— Мамона! Все погрязло в мамоне!.. стыдно!

Подождав немного, продолжает сквозь зубы, в том же ду-

хе:

– Только и знаете, что копить да народ обманывать... Ну да погодите!.. Придет Сын Человеческий, тогда узнаете.

Присутствующие с любопытством наблюдают. Сегодня день будний и не праздничный, поэтому народу почти никого.

А Валентина, между тем, идет по храму и, остановившись у каждой иконы, крестится и говорит:

– Избави, матушка от издоимца имярек, всякий закон и правду престапующий.

Или:

– Святой имярек, изгони, отче, проклятую мамону своей силою и Божьей помощью.

И так – у каждой иконы.

Потом она поворачивается и, ни на кого не глядя, выходит из храма, вызывая цокая каблучками.

Проводив ее косыми взглядами, прихожанки переглядываются и со значением и пониманием вздыхают.

Впрочем, случались и более серьезные стычки, когда Валу нес неофитский дух, и она, забывая, где находится, начинала громко говорить что-нибудь, обличая мамону и ее приспешников.

– Тише, тише, – говорил, выходя из-за колонны, отец Фалафель. – Церковь все-таки, не рынок.

– Ах, не рынок?– с ядовитой усмешкой спрашивала Валентина. – А вы не напомните мне случайно, на какой маши-

не ездит сегодня наш игумен?

– А вы случайно не забыли, что служба идет, а вы кричите, как будто вас режут, – говорил отец Фалафель, слегка повышая голос.

– Я-то не забыла, – говорила Валентина, наступая на бедного отца Фалафеля. – А вот вы не забыли, что Спаситель пришел не для того, чтобы на иностранных машинах разъезжать?..

– Да ведь, служба, – говорил отец Фалафель, разводя руками и не желая продолжать автомобильную тему. – Как же можно?

– Женщина, давайте выйдите отсюда или ведите себя прилично, – вмешивалась одна прихожанка, которой надоело это пререкание, однако в эту самую минуту правая алтарная дверь отворялась и на свет показывался сам отец Нектарий. Увидев Валентину, он непроизвольно делал движение назад, в алтарь, но затем, скривившись, говорил:

– Опять, значит, конфликтуем?

Не слушая игумена, Валентина громко спрашивала:

– Как же это вы такие хоромы отгрохали, что впору экскурсии водить? Хотите там гостиницу открыть?

– Все для пользы человеческой, – говорил отец Нектарий, хмурясь и смотря в сторону. – Стараемся, как можем. А для достоверности сказанного читайте лучше святое Евангелие, – добавлял он, сам не очень хорошо понимая, что, собственно, он хотел сказать.

– А я что-то не помню, чтобы Христос гостиницы открывал, – продолжала Валентина. – Может, вы напомним?

– А вот Христа-то ты не трогай, – сердито говорил отец Нектарий, в котором просыпалась вдруг обида за мать Православную Церковь. – Он за нас кровь пролил, а нам, видишь ли, трудно тишину во время службы соблюсти.

– Я вот только одного не понимаю, – говорила Валентина, и глаза ее в сумерках храма начинали фосфоресцировать, как у кошки. – Христос за нас кровь пролил, но так ведь это же Он пролил, а не вы. Вы-то только здесь при чем?

– А вот я тебя лишу причастия, будешь тогда знать, – стараясь быть грозным, произносил отец Нектарий.

– Не имеете права, – весело говорила Валентина.

– Еще как имею, – отвечал отец Нектарий. – За непочтительное отношение к святыне и дискредитацию авторитета духовного лица... Советую подумать.

И, повернувшись, он благословлял присутствующих и быстро – насколько это позволяли вес и авторитет – выходил из храма.

– Тогда, может, вы мне ответите? Не забыли, случайно, зачем Христос приходил? – спрашивала Валентина у первого же попавшего на ее пути монаха, и по выражению ее лица становилось ясно, что так просто монахам от нее не отделаться.

– Христос приходил за тем, чтобы человеческую гордыню усмирить, – отвечал отец Зосима, который все это вре-

мя простоял в тени, а теперь вышел на свет, чтобы сказать свое весомое слово ответственного артиллериста. Он бы, наверняка, и сказал бы это слово, если бы вдруг в голове его что-то не запело, и он услышал голос, сказавший ему «Зосима, Зосима!.. Зачем ты гонишь Меня и мою возлюбленную дочь, когда вокруг столько грешников, что хоть маринуй их, а все будет мало?.. Или, по-твоему, я стреляю хуже, чем отставной майор?»

Потом голос смолк и слегка ошарашенный Зосима остался один на один с прекрасными и своевременными мыслями, одна из которых была, пожалуй, особенно прекрасна, потому что это была мысль о том, что не следовало бы нам в поисках Истины возлагать надежду на слова и понятия; тогда как, напротив, следовало просто немного помолчать, чтобы услышать в ответ ту тишину, которую иногда посылают нам Небеса, надеясь на наше понимание.

2

Со временем неофитский дух Валентины слегка помягчел, что же касается отца Нектария, то он всякий раз, когда слышал Валин голос, быстренько ретировался в алтарь или в мощехранилище и сидел там, пока Валентина не закончит молиться. Так, во всяком случае, рассказывали свидетели и

очевидцы.

А еще они рассказывали одну историю, которую я слышал когда-то от Леша Иванова и которая была вот о чем.

Была ярмарка и, кроме привычных, местных, следом за Ивановым шли, кроме прочего, два пушкиногорских монаха, один повыше, а другой пониже, которые переходили от одной палатки к другой и весело переговаривались, пока окно на втором этаже, под которым они проходили, вдруг не открылось и высунувшийся из окна отец Нектарий не закрычал:

– Про сандалии не забудьте, ироды!.. И чтоб такие же, как у Тимофея!

– Обязательно, – сказал один из монахов.

Потом отец Нектарий исчез, окно захлопнулось, а монахи отправились покупать сандалии и довольно скоро их купили, а сами остановились возле какой-то палатки, где было вывешено женское белье. При этом они страшно развеселились.

– Вы, – сказала Валентина, останавливаясь позади монахов, которые что-то весело обсуждали. – Только не говорите, что вы не знали, что монаху запрещено таскаться по магазинам.

Обернувшись и обнаружив за своей спиной Валю Бутрину, монахи как-то сразу поскущнели.

– Мы, между прочим, по благословению, – сказал один из них, а второй подтвердил:

– Истинный крест.

– Истинный крест, значит? – сказала Валентина. – А если отец Нектарий благословит вас, чтобы вы из окна прыгали, вы что, тоже прыгали бы?

– Да мы только посмотреть, ей-богу, – сказал тот, кто выше. – Да еще сандалии вот купили для отца настоятеля. А так мы ничего.

– Слушать надо Господа и святых, – сказала Валентина строго. – А если вы больше верите настоятелю, а не Богу, то добра от этого ждать не приходится... Ну-ка, покажите-ка мне, что это вы там купили... Покажите, покажите!

– Вот, – сказал один из монахов, протягивая пакет с сандалиями.

Вынув из пакета сандалии, Валентина какое-то время посмотрела на них с разных сторон, а потом сказала:

– Действительно, неплохие.

После чего размахнулась и швырнула сандалии, один за другим, в ярмарочную толпу, где их немедленно присвоил какой-то местный цыган.

– А отцу Нектарию передайте, что не одними сандалиями жив человек, – сказала она и исчезла в разноцветной толпе.

3

Наши отношения были далеко не безупречны. Валя могла

вдруг перестать с тобой разговаривать и ходить, задрав голову, независимо и свободно, а потом вдруг – через неделю или месяц – она начинала разговаривать и притом так, как будто ничего до этого не происходило. Время и место для примирения она выбирала сама.

Как-то раз я возвращался к себе по старой михайловской дороге, и ко мне привязался большой черный кот, который бежал за мной от самого Савкино. Я подходил уже к трактиру, когда увидел, что навстречу мне идет Валентина. Подойдя ближе, она засмеялась и сказала:

– Надо же!.. Все ходят с собаками, а ты с кошкой!

И пошла дальше, посмеиваясь.

– Валя, – сказал я ей вслед. – Ты не разговариваешь со мной уже месяц... Может, хватит?

– Разве? – она сказала это так, как будто слышала об этом впервые. – Целый месяц?.. Ты поэтому кошку завел?

4

Мы разговаривали в последний раз, прогуливаясь у будки охранника, на дороге, ведущей в сторону Савкино.

Разговор шел о какой-то ерунде, которую я не запомнил. Но зато я запомнил ее стремительную походку и светлую, солнечную улыбку и смех, а еще и то, как она сказала, когда

однажды я отвозил ее в Савкино:

– Это как чудо. Не ждешь его, а оно уже вот, рядом.

Сказано было о каком-то вещем сне, но с таким же успехом это могло быть сказано и о ней самой.

Впрочем, один эпизод из нашего получасового разговора я хорошо помню. Говоря о какой-то кожной болезни, она показала мне пятна на руках и сказала:

– Хочешь, поспорим?.. Через месяц я буду здорова.

И показала какой-то пузырек с волшебным народным средством.

– К врачу сходи, – бубнил я, прекрасно понимая, что Валентина ни к какому врачу, конечно, не пойдет, доверившись не лекарствам и врачам, а едва слышной молитве, – той, от которой, как учили некоторые святые отцы, рушатся горы и останавливается солнце.

Знать бы заранее, – знать бы, знать...

Через две недели она умерла, а волшебное средство не помогло.

Потом выяснилось, что она решила лечиться какими-то народными средствами, которые и свели ее в могилу, хотя врачи говорили, что ее случай вполне исцелим.

Говоря совершенно серьезно, я и тогда, и сейчас уверен, что место ей было всегда больше в Царствии Небесном, чем в нашей посюсторонней серьезной реальности.

Она умерла, как и жила – в ожидании чуда.

Как следовало бы, дай Бог, умереть и каждому из нас.

Вечная память!

19. Первое явление отца Фалафеля и Сергея-пасечника

И было в этом часу, когда ярмарка только начинала разворачивать свои богатства, некоторое не отмеченное историками того дня явление, которое появилось вдруг на хозяйственном дворе с явным желанием оставаться незамеченным или, во всяком случае, выдать себя совсем не за то, чем оно было на самом деле.

Было это явление одето в засаленный подрясник, из-под которого выглядывали побитые и выдавшие виды кроссовки, а еще скуфейку, едва прикрывавшую сверкающую на солнце лысину. Время от времени злосчастная скуфейка падала с его головы, и тогда вокруг макушки вспыхивал на мгновение электрический нимб, слепя окружающих и наводя их на мысль о небесных знаках, которые время от времени посылает нам Небо.

В довершение всего лицо явления украшали большие очки в темной роговой оправе.

Когда-то очень давно это явление звали Гена Кораблев, и имя это было прекрасно известно всем подлинным любителям и поклонникам классического балета, и при этом – не только в России. Хорошо понимающие в прекрасном япон-

цы одиннадцать раз предлагали Кораблеву навсегда остаться в Японии, однако великий Кораблев был твердо верен отечественному портвейну «Три семерки» и тому, что лучшую Родину, чем эта, вряд ли где удастся найти.

Как жизнь завела Гену в монастырь, судить не берусь. Ходили какие-то слухи о брате-самоубийце, которого Гена пришел отмаливать да так и остался в монастыре, почти сразу превратившись в живую легенду, которую показывали туристам и паломникам и у которой просили автограф.

Теперь же это явление звали отец Фалафель, и он уже который год выполнял работу псаломщика, то есть разжигал кадила, следил за чистотой в храме, смотрел за свечами, протирали иконы и подменял кого-нибудь в чтении псалмов, если этого требовали обстоятельства. При этом делал все это он, не ропща и не утомляя никого своими стонами и жалобами, а, напротив, всегда был весел и доброжелателен, так что добродушная улыбка почти не сходила с его лица, а работа псаломщика так и спорилась у него в руках, так что можно было предположить, что отец Фалафель просто-напросто родился псаломщиком и будет им, наверное, и в Царствии Небесном, где, конечно, требовались хорошие псаломщики, но уж, наверное, вряд ли была потребность в хороших балерунах, пусть даже таких знаменитых, как отец Фалафель.

Говоря о Фалафеле, нельзя было не вспомнить, что отличительной чертой его характера была вера. Не та вера, о которой писали святые отцы и о которой апостол Павел сказал,

что она видит гадательно, словно сквозь закопченное стекло, а та, которая немедленно верила всему, что она услышала, или тому, что ей рассказали, так что в голове отца Фалафеля всегда была такая каша, разобраться в которой не было никакой возможности.

Скажут, допустим, отцу Фалафелю, что отец игумен отошел в лучший мир, так Фалафель пойдет рассказывать об этом всем, кого встретит по пути, пока не нарвется на самого наместника, которому он тоже чуть было не расскажет о том, что тот уже благополучно усоп.

Скажут Фалафелю, что отец Иов завербован ФСБ, чтобы следить за настроениями среди монахов, как он тут же уже бежит рассказывать об этом всем встречным-поперечным, и при этом с такими подробностями, которых не было прежде.

Скажут ему, допустим, что на самом деле Серенька Цветков не хулиган и забулдыга, а великий молитвенник, который за ночь целиком читает без перерыва всю Псалтирь, как уже бежит отец Фалафель разнести эту новость по всему монастырю и даже, под хихиканье братии, подойдет, бывало, к Сереньке под благословение да тут же ручку ему и поцелует.

И все это надо было понять, исследовать и проанализировать, так что, даже оказавшись сегодня на хоздворе, отец Фалафель страдальчески морщил лоб, размышляя над тем, что сегодня утром сообщил ему под большим секретом отец Ферапонт. А сообщил он ему новость, от которой у отца Фалафеля приятно зануло в животе и захотелось говорить ка-

кие-то смешные глупости, потому что принесенная отцом Ферапонтом новость заключалась в том, что по всему выходило, что отца Фалафеля должны были вот-вот назначить монастырским благочинным, а, соответственно, отца Павла из благочинных погнать, поскольку он с этой работой перестал справляться.

«Прямо в ближайшее время», – говорил отец Ферапонт, глядя на отца Фалафеля чистыми и невинными глазами.

«Но ведь я не готов, не готов, – отвечал отец Фалафель, испуганно глядя перед собой через толстые линзы очков. – Это ведь ответственность какая, ты только подумай. Шутка ли, был ничего, а вдруг стал благочинным, да еще с таким наместником, что не будешь знать, как и ноги унести».

«Бога благодари и на Бога надейся, – говорил отец Ферапонт, едва сдерживая смех, что было, конечно, не очень хорошо, но уж смешно так, что дальше некуда.

«Бога-то, это конечно, – задумчиво тянул Фалафель, морща лоб и подняв голову к небу. – Но только тут еще особый подход нужен, чтобы польза была, а не так, как это у нас обычно бывает, когда один тянет, а шестеро ему советы дают».

«Вот будешь благочинным и обустроишь все, как считаешь нужным», – сказал отец Ферапонт, чувствуя, что очередной розыгрыш отца Фалафеля вполне удался.

«Но почему, почему именно меня?» – снова засомневался отец Фалафель, и лицо его сразу стало серьезным.

«А кого же, по-твоему? – спросил Ферапонт. – Нрава ты тихого, не кричишь, не воруеть, пьешь умеренно и с женским полом тоже не замечен... Так кого же еще, если не тебя?»

«А что?... И очень даже может быть», – подумав, подхватывал отец Фалафель, и лицо его при этом озаряла светлая улыбка – так, словно после долгих мытарств ему, наконец, попало то, что он долго и безуспешно искал.

С этой улыбкой он и вошел на хозяйственный двор, где три раза истово перекрестился на висевший над воротами монастыря образ Спасителя, а затем оглянулся по сторонам, явно ожидая встретить какого-нибудь знакомого.

Знакомый этот вскоре действительно появился и оказался не кем иным, как Сергеем-пасечником, который обосновался в монастыре совсем недавно, но уже умудрился повздорить и с благочинным Павлом, и даже с самим игуменом, за что и был отправлен в ссылку на пасеку в деревню Глухово, из которой вернулся сегодня по случаю ярмарки и воскресного дня. Никакой другой информации о нем не было, если не считать, конечно, небольшой записи в личном деле, из которой следовало, что совсем недавно был Пасечник офицером КГБ, откуда после долгих мытарств был комиссован и с самыми благими намерениями постучался у входа в святую обитель, надеясь обрести здесь долгожданный покой.

Подойдя, Сергей-пасечник улыбнулся и сказал:

«Ну-с?... И какие наши планы?»

«Тихо, – сказал отец Фалафель, прикладывая палец к губам, – не видишь?.. Сейчас запрягут, и прощай наша прогулка».

«Да кто нас запряжет-то?» – не понял Пасечник, не слишком хорошо пока еще разбирающийся в тонкостях монастырской жизни.

«Да кто угодно, – ответил отец Фалафель и еще раз с чувством перекрестился на икону Спасителя – Тут для этого любителей хватает, можешь не сомневаться. Только успевай уворачиваться».

«Неужели стучат?» – догадался Пасечник.

«Еще как», – подтвердил отец Фалафель.

«И кто же, если не секрет?» – поинтересовался Пасечник.

«Да все! – твердо сказал отец Фалафель и добавил, вызвав удивление на лице собеседника. – Все, кому не лень».

Сказанное было, конечно, преувеличением, однако прозвучало вполне убедительно, тем более что не требовалось быть ни большим провидцем, ни доносчиком, чтобы с одного взгляда догадаться, что, встретившись в это воскресное утро на хозяйственном дворе, Фалафель и Сергей-пасечник затеяли что-то явно противозаконное, так что достаточно было посмотреть на озирающегося по сторонам Пасечника или истово крестящегося в десятый раз отца Фалафеля, чтобы сообразить, что дело тут было явно нечисто, а оставаться на хозяйственном дворе дальше было опасно.

Между тем из запасной двери вышел на хозяйственный

двор отец Иов, а вслед за ним, на шаг отставая, Сергей Цветков.

«Не понимаю. Хоть убей, не понимаю», – говорил этот последний, делая удивленное лицо, хотя даже невооруженным глазом было видно, что он прекрасно все понимает, а говорит так только для того, чтобы позлить отца Иова.

«Ну вот, дождались, – сквозь зубы сказал отец Фалафель, наклоняясь и делая вид, что чистит запачканный подрясник. – Говорил же я тебе, пораньше надо было выйти».

Между тем, заметив отца Фалафеля, отец Иов слегка замедлил шаг и, ткнув в его сторону указательным пальцем, сказал:

«А мы как раз к тебе заходили».

«А я вот тут, – сказал Фалафель, продолжая заниматься чисткой. – Запачкал непонятно чем подол, хоть стирай теперь».

«Ты можешь мне понадобится после обеда, – продолжал Иов, пропуская мимо ушей сообщение о подоле. – Никуда не уходи».

И пошел дальше, рассеяно слушая пояснения Цветкова.

«Да пошел ты, – негромко сказал Фалафель, одновременно, на всякий случай, растягивая губы в лучезарной улыбке и притворяясь, что страшно рад встретить на хозяйственном дворе отца Иова. – Видал?»

«Кто это?» – спросил Пасечник, с интересом провожая взглядом странную пару.

«Это наш духовник, – сказал отец Фалафель, тоже глядя вслед отцу Иову и Цветкову. – Сует свой нос, куда его не просят».

«Понятно», – сказал Пасечник и посмотрел на часы.

«Ничего, ничего, успеем, – сказал Фалафель. – Нас, слава Богу, ждут к двум».

«Как деревня-то хоть называется?»

«Дедовцы. Если что, расходимся по одному, а встречаемся на мосту, на той стороне».

«Так там еще и мост есть? – удивился Пасечник. – А ты ничего мне про мост не говорил».

«А что про него говорить? Тут у нас один мост, и захочешь – не потеряешься», – сказал Фалафель и еще раз перекрестился, одновременно внимательно оглядывая окрестности.

Но все было тихо.

Никто не шел по центральной аллее.

Безлюден был хозяйственный двор.

Даже посуда не гремела в посудомоечной.

«Ну, с Богом, пока никто не видит», – сказал напоследок шепотом отец Фалафель и, решительно перекрестившись, шагнул в этот ярмарочный, балаганный, нелепый и многообещающий прекрасный день.

20. Ярмарка и ее посетители

1

А ярмарка, между тем, все текла и текла, то устраивая людские водовороты, то расступаясь перед бесформенными тетками, блестевшими от пота, то звеня пестрыми цыганами или совсем потерявшими стыд наехавшими туристами, чьи обнаженные, загорелые тела заставляли проходящих монахов опускать глаза и быстро креститься, а трудников, наоборот, издавать разного рода изумленные восклицания вроде «Видал?» или «Ни хрена себе!», или даже изумленное «Вот это жопа!», после чего раздавался гомерический хохот, которого пугались идущие рядом и дребезжали в братском корпусе стекла...

«А ведь что же это получается, – говорил отец наместник, глядя на плывущую мимо толпу. – Получается, что если бы вся эта толпа захотела бы вдруг попасть в наш храм, то ведь и четверти бы ее в него не поместилось бы, наверное... Ведь так, отец благочинный?»

«Что же тут такого, – отвечал отец благочинный, звеня

для привлечения клиентов в глиняный колокольчик. — Храм у нас маленький, всех желающих вместить, слава Богу, не может. Пускай вон на улице стоят, если не лень».

«А я тебе разве об этом говорю? — сердился отец наместник, пытаясь внятно изложить пришедшую ему в голову мысль. — Я тебе говорю, что народ у нас совсем разболтался и вместо того, чтобы в храме стоять, бегаёт вон по ярмаркам, как оглашенный. А это значит — не только что Богу, но и нам урон довольно немалый».

«Ох, ты какой, — отвечал отец благочинный, не понимая, шутит отец наместник или говорит серьёзно. — Да если бы он весь в храме стоял, то мы тут с тобой и рубля бы не зарабатывали сегодня. Уж не сомневайся».

Сказанное хоть и было произнесено шутливо, было между тем совершенно справедливо, так что отцу наместнику скрепя сердце оставалось только пожать плечами и согласиться.

Ярмарка тем временем лениво текла мимо монастырских ворот, спускалась мимо большой и всеми забытой палатки «Союзпечать», откуда смотрели на праздничный народ чьи-то любопытные лица, а затем вновь растекалась по городской площади, мимо этой *России*, которой следовало поскорее подняться и возвышаться, если уж не было у нее никакого другого стоящего дела.

Вот прошёл сам директор пушкинского Заповедника господин Василевич, чья широченная спина напоминала одновременно и аэродром, и антикварный шкаф работы итальян-

ского мастера 18-го века Бертолуччи Красивого.

Вот прошел вслед за ним и его вечный враг Петя Быстров, обессмертивший свое имя гениальным по простоте выражением, понятным каждому русскому. «*И так сойдет*» – говорило это выражение, которое с Петиной легкой руки получило гражданство далеко не в одних только Пушкинских горах

А после Пети прошел мимо Шломо Маркович, единственный еврей, оставшийся на сегодняшний день в Пушкинских горах и державший в конце улицы небольшую продуктовую лавку, прославившуюся своей вывеской, на которой аршинными буквами было написано: «Антисемитам не отпускаем». Первоначально народ возле надписи толпился, но в магазин заходить не решался, но потом привык и на вывеску внимания уже не обращал.

После Шломо шли цыгане, которые, в отличие от Шломо и ему подобных, плодились и размножались так стремительно, что в поселковой администрации вечно не хватало новых документов для регистрации.

Затем мимо прошел похожий на гриб дед Всеволод, который во время оккупации возил на машине какого-то немецкого хозяйственника и до сих пор удивлялся, что солидный немец, которого он возил, обладая широкими возможностями по части продуктов и разных ширпотребов, никогда ничего со складов не умыкнул, а жил, что называется, на одну зарплату да еще на сухой паек, который, впрочем, выдавали не всегда.

«Я ему говорю, слышь сюда, немчура, ведь это же все пропадет, если только мы что-нибудь быстро не организуем.

А он мне говорит – я есть честный солдат германского вермахта и не унижу себя ради каких-то там консервов и сапог.

А я ему говорю – вот от этого, вы, немцы, войну– то и проиграете.

А он меня спрашивает – почему?

А я ему, дураку, говорю – потому что нет у вас личной заинтересованности, вот почему.

А он мне тогда говорит – германский солдат имеет возможность отправлять домой две посылки в год.

А я тогда посмеялся над ним, но объяснять ничего не стал, потому что, сколько немцу ни объясняй, чем ворованное отличается от неворованного, он все равно этого никогда не поймет».

...Между тем, прошла со своим мужем Анна Васильевна – глава местной администрации, стяжавшая славу и обессмертившая себя фразой, сказанную ею в ответ на просьбу мастеров прикупить кой-какое оборудование для птицефермы:

«А вы молитесь, молитесь, – сказала Анна Васильевна, улыбаясь лучезарной улыбкой, которую можно увидеть только у детей и идиотов. – Молитесь, чтобы Бог вам все послал. Будете хорошо молиться и все получите».

Услышав это, некоторые чересчур хозяйственные мужики попробовали направить разговор в несколько иное русло,

но Анна Васильевна от дебатов отказалась и, как верная духовная дочь Русской Православной Церкви и лично отца наместника, оставалась стоять на своем, говоря:

«Плохо молитесь, друзья мои, вот и не дает вам Господь ничего за ваше неверие...»

После чего не в меру занятые мирским мужики были с позором изгнаны из городской администрации с еще раз прозвучавшим напутствием молиться, молиться и еще раз молиться, как завещал нам Сын Человеческий.

Сама Анна Васильевна, судя по ее дому, машине и отдыху на Галапагосских островах, молилась усердно, а хозяйственные заботы препоручила, с одной стороны, Господу Богу, а с другой – своему заместителю, который хоть молиться совсем не умел, зато хорошо разбирался в разного рода хозяйственных тонкостях. Народ Анну Васильевну, однако, любил, и пуще всего за то, что, стоило приблизиться по календарю какому-нибудь церковному празднику, как Анна Васильевна, перекрестившись, объявляла этот день нерабочим, с чем весь народ без проволочек соглашался и даже не раз и не два удостаивал Анну Васильевну благодарными рукоплесканиями. «А те, кто хочет, тот пускай и работает», – добавляла Анна Васильевна, имея в виду своего заместителя и всех тех, кто в своей гордыне думал, что сможет заниматься хозяйством лучше, чем это сделает Спаситель и Божья Матерь. Тем более что во всем вверенном Анне Васильевне учреждении была в скором порядке проведена серьезная идеологи-

ческая работа, которая заключалась, во-первых, в том, что на стенде возле здания Администрации *«Ими гордится поселок»* была повешена фотография отца наместника, во-вторых, всем работающим в Администрации района рекомендовано было начинать трудовой день с чтения Евангелия и краткой молитвы на предмет обретения ума, в-третьих, полагалось не менее двух раз в неделю опрыскивать святой водой все рабочие помещения, а также развесить везде образа, на что, впрочем, выдавалась довольно приличная сумма денег, внесенная в бюджет в качестве оплаты *просветительской работы среди молодежи и военнообязанных*.

2

«Вот жизнь-то человеческая, – говорил отец наместник, глядя на плывущую перед ним толпу. – Ты только посмотри, Павлуша, на этот стыд. Ей в обед сто лет, а она вон натянула на себя юбчонку, словно молоденькая... А? Видел, Павел?»

«Я на женский пол не смотрю, – отвечал отец благочинный, равнодушно скользнув взглядом по обтянутым прелестям местной красотки. – Баба – она и есть баба. Чего с нее возьмешь?»

«Экий ты бесчувственный, в самом деле, – говорил насмешливо наместник, довольный тем, что ему удалось

немного задеть благочинного. – У тебя ведь, я знаю, мать есть, что ж, и она тоже баба?»

«А кто же она?» – отвечал отец Павел, продолжая одновременно зазывать подходящих к лотку потенциальных клиентов.

«Эх, благочинный, благочинный, – с сожалением вздыхал наместник, который, похоже, уже близок был к тому, чтобы поблагодарить Небо за то, что оно не сделало его похожим на отца Павла. – Торгуешь ты хорошо, не спорю, а вот в жизни понимаешь с гулькин хрен».

«Вот и я говорю, – сказал вдруг обычно молчащий отец Зосима. – Торговать – оно, допустим, не всякий умеет, но так ведь и на Страшном Судилище Христовом тебя об этом спрашивать не будут. А вот про жизнь твою горемычную обязательно спросят, и притом спросят по всей строгости».

«Вот мы и посмотрим тогда, кто понимает в жизни, а кто нет, – отвечал отец благочинный, одновременно отмусоливая покупателю сдачу и вызывая звеня банкой с мелочью. – Царство-то Небесное болтовню-то не очень уважает, тем более, если говорить, да не подумавши».

«Что ж, не подумавши, – обижено сказал отец Зосима, поднимаясь с ящика, на котором он сидел. – Один одно умеет, другой другое...»

«А третий совсем ничего», – перебил его отец Павел и засмеялся.

«Да будет вам», – сказал отец наместник, чувствуя, как

какая-то тревожная мысль медленно овладевает им. Потом в голове его прояснилось, и он сказал:

«Сходи-ка, отец Зосима, на кухню да узнай, как там праздничный обед поживает. А то приедет владыка, как в прошлый раз, а кормить-то его и нечем».

«Не дай Бог, – сказал отец Павел и быстро перекрестился, надеясь, что Небеса уберегут своих верных от такого конфуза, какой случился в позапрошлом году и о котором отец наместник и спустя столько времени все еще вспоминал с ужасом и отвращением.

«И скажи, что я скоро сам приду», – в спину Зосиме крикнул отец наместник, морща лоб, словно хотел избавиться от каких-то неприятных воспоминаний.

Но глуховатый Зосима его уже не слышал.

21. Конфуз

Конфуз этот приключился года два или три тому назад, но до сих пор был памятен, как будто случился только вчера.

А виноват был, конечно же, келейник Маркелл, не растолкавший после обеденного сна отца наместника, а, напротив, отправившийся в братский корпус точить ляды, чего он был большой поклонник и любитель.

Как бы там ни было, но только стоило отцу наместнику продрать после сна глаза, как внимание его привлеч какой-то шум из соседней комнаты. Словно кто-то специально хотел позлить отца Нектария, для чего то проводил по полу тапочками, то чем-то постукивал по тому же полу и при этом о чем-то вздыхал и, похоже, постанывал и покашливал.

«Да чтоб тебя, Маркелл, – сказал, наконец, разлепив губы, отец наместник. – Где тебя только носит, паршивца... Ну, что ты там опять затеял, бисов сын?»

«Вон ты где, – произнес какой-то голос, который со сна показался отцу Нектария довольно знакомым. – А я тут думаю, куда это ты запропастился-то».

«Это я, что ли, запропастился? – строго ответил наместник, не привыкший, чтобы так неуважительно с ним разговаривали, да еще в его собственной келье. – Ты что вообще тут делаешь, в наместничьих-то покоях?...»

«Ну, ты и наглец, – сказал голос, после чего перед ложем отца Нектария образовался не кто иной, как владыка Евсевий. – Разве такими словами тебя учили правящего архиерея встречать?»

На мгновение в покоях наступила тишина. Затем отец Нектарий сказал:

«Батюшки, преподобный Николай. Да как же это?.. Только вот глаза успел закрыть...»

Глаза тут были, впрочем, совершенно не при чем.

«Знаю я, как ты глаза успел закрыть, – сообщил между тем владыка, с огорчением качая головой. – Как же это, Нектарий? Где насельники? Где колокола? Разве так встречают владыку-то?»

«Маркелл!» – закричал наместник в сторону дверей, стыдясь своего наместнического тела и шаря одной рукой в поисках затерявшегося подрясника.

«А нет твоего Маркелла, – с горечью сказал Евсевий и добавил, – никого нет. Хоть назад поезжай».

Тут до отца наместника стала, наконец, доходить вся серьезность свалившейся на него ситуации.

Во-первых, гостей следовало принять и расположить, что было еще полбеды. Во-вторых, их следовало накормить – и образ праздничного если не обеда, то, по крайней мере, ужина, вдруг возник перед внутренним взором и укоризненно подмигнул. Наконец, гостей следовало одарить, и тут, кроме соображений чисто человеческих и понятных, были сообра-

жения, так сказать, объективные, заключавшиеся в том, что в казне, кажется, не было ни копейки денег, которые не то ушли на ремонт, не то были отложены наместником на какое-то богоугодное дело, например, на поездку на юг для поправки здоровья. Единственный свет в конце туннеля замаячил перед глазами наместника, когда он вдруг вспомнил, что приезд архиерея был назначен на четверг, тогда как до четверга было еще очень и очень нескоро.

«Так ведь как же, – сказал отец Нектарий, торопливо поднимаясь со своего ложа и поспешно подходя в ночной рубашке под архиерейское благословение. – Разве мы не в четверг собирались?»

«Как? – переспросил его архиерей, внимательно глядя на припавшего к руке, но все еще не получившего благословения наместника, что было дурным признаком. – Как это, в четверг? Кто это, в четверг-то?»

«Так ведь праздник», – с робкой надеждой сообщил наместник, косясь на свои сложенные для благословения руки и тщетно стараясь вспомнить, о каком празднике шла речь.

«Ах, ты оглоед, оглоед нечесаный, – сказал владыка, любивший, чтобы жесткое слово, выходящее из его архиерейских уст, звучало не просто так, а приводило ругаемого в недоумение и растерянность, перед которыми ему приходилось молчать и смиряться. – Четверг-то – это ведь сегодня! Сегодня четверг-то, антихристово семя! И договаривались мы с тобой на сегодня, потому что сегодня четверг!»

Сказав это, владыка отдернул свою руку и отошел к окну, давая понять, что далеко не всякого считает возможным допустить к своей богоспасаемой руке.

Тут в голове отца Нектария заиграли звонкие колокольчики, и кровь прилила к голове и застучала что было силы в висках, что было, конечно, не самым лучшим признаком.

«Простите, ваше преосвященство, – сказал он чужим, хриплым голосом. – Ей-богу, нечистый попутал, не иначе!»

«То-то тебе вечно нечистые мерещатся, – проворчал владыка, глядя в окно на улицу. – А может, это ты сам у нас нечистый?.. Между прочим, очень похоже. Владыку не встречаешь, числа путаешь, борода вон, как стог сена клокаста, нечистый и есть...»

«Сейчас все исправим», – пообещал отец Нектарий, не понимая, что, собственно говоря, ему следует делать.

«Да уж и не надеюсь», – сказал владыка, опускаясь в кресло и разглядывая отца Нектария, который в это время уже натянул подрясник, а теперь собирался натянуть рясу.

«Небось, без Маркелла-то и штаны не наденешь», – предположил владыка, на лице которого появилось даже некоторое удивление, как будто он никогда не видел ничего подобного.

«Стараюсь, ваше...», – просипел игумен, пыхтя и исчезая в складках рясы.

«Вон ведь жиру-то сколько наел, – покачал головой владыка. – Не тяжело?»

«Болею я», – сообщил наместник, делая скорбное лицо.

«И об этом слыхали, – владыка выразительно посмотрел на наместника. – А может, отправить тебя на приход?.. У меня тут хороший приход есть. Триста верст одних болот да леса. Тебе понравится...»

«Какая ваша воля будет», – сказал отец Нектарий, пытаясь изобразить на лице смирение и покорность Божьей воле.

«А вот такая и будет, – сказал владыка, сверля наместника сердитым взглядом. – Давай-ка, принимай владыку, да и остальных не забывай, а там уже поглядим».

«Бегу, – сказал наместник, надевая наперсный крест и не представляя, что ему следовало делать дальше.

«Давай, давай, милый, торопись, – подгонял его владыка. – Народ с дороги, тоже хочет отдохнуть. А я пока в трапезную пойду, как раз ко времени успею».

При этих словах Нектарию представился вдруг весь этот архиерейский поезд, который слонялся теперь по территории монастыря, топча и ломая все вокруг: все эти певчие, келейники, чтецы, секретари, мальчики на побегушках – вся эта пестрая толпа, которая, к ужасу Нектария, тоже должна была время от времени выражать естественные человеческие желания, а именно поест и отдохнуть.

Ни до, ни после мало кому довелось видеть эту замечательную картину: отец наместник, бегущий со всех ног из административного корпуса к трапезной. Добежав до двери в трапезную и держа руку на сердце, наместник прохрипел ед-

ва слышным голосом: «Готовить... Готовить!», чем страшно напугал выходящую из трапезной посудомойку.

«Что готовить-то, батюшка?» – спросил появившийся вслед за посудомойкой повар.

«Да что хочешь, болван, – еще не совсем отдышавшись, просипел наместник. – Не видишь? Владыка приехал!»

«Так ведь нечего, – сказал повар, разводя руками. – Сегодня все подъели, последнее. Разве что вы денег дадите, да мы кого-нибудь в магазин пошлем?»

«Нету у меня денег! Нету, нету!» – закричал наместник, обретая вновь прежний голос.

«Нету денег – нет еды» – философски изрек повар.

«Маркелла надо звать, – сказал Нектарий. – Ищите Маркелла и эконома. Где они болтаются только, чертовы дети! Не видят, какая у нас беда?..»

Послали еще раз за Маркеллом, который, оказывается, был совсем рядом, в одной из келий.

Выслушав ругань наместника и узнав, что происходит, Маркелл развел руками и сказал:

«Ничего нет. Я сам сегодня смотрел. А эконом уехал в Глухово».

«Ничего? – спросил отец Нектарий, надеясь на какое-нибудь завалящее чудо – что-нибудь вроде манны небесной или рыбки, накормившей пять тысяч голодных. – Что, совсем ничего?»

«Могу в магазин сходить. Вот только с деньгами у меня

не очень».

«Нету у меня денег, – сказал по привычке наместник и добавил: – Да и не успеем уже».

Между тем, Владыка в окружении всех тех, кто обычно окружает владыку, появился возле трапезной и, благословляя местных трудников, исчез за ее дверью.

«Господи, сохрани, – прошептал наместник и, словно сомнамбула, сделал несколько шагов в сторону трапезной. – Не дай погибнуть, Господи».

Все окружающие с сочувствием посмотрели на наместника, который медленно взялся за ручку двери и слегка помедлив, исчез в трапезной.

А там уже все успели прочитать молитву и рассестись по своим местам сообразно иерархической лестнице.

Потом началась долгая пауза, в продолжение которой все чувствовали, что происходит что-то непонятное, но что именно, никто пока еще не знает.

Появившийся, наконец, наместник подошел к преосвященному и что-то прошептал ему на ухо. Багровое лицо его пылало.

«Ну как же так? – сказал владыка, слегка повернувшись к отцу Нектарию. – Что, уж совсем ничего?»

«Совсем», – убитым голосом сообщил наместник.

В дальних рядах трапезной раздался приглушенный, похожий на смех, шум.

«Молочка не хотите ли, с сухариком? – наклонившись к

владыке, спросил Маркелл. – С утра еще оставалось в холодильнике».

«Ну, давай хоть молочка», – сказал владыка, смиряя разные чувства, о чем свидетельствовал его глубокий, печальный и безнадежный вдох.

Между тем принесли молочко.

Владыка попробовал его и с гримасой отодвинул прочь.

«Скисло», – произнес он, почти с изумлением глядя то на Маркелла, то на наместника.

«Утром было свежее», – сказал Маркелл и пожал плечами.

Шум на дальних скамейках становится сильнее.

«Поедем мы, – вздохнул владыка, поднимаясь и крестясь на красный угол. – Заедем пообедать в Оршу. Уж что-что, а скисшего молока там владыке не предложат».

«Простите, ваше преосвященство», – чуть не плача, прошептал наместник едва слышным голосом. Лицо его по-прежнему пылало.

«А ты, – обратился владыка к наместнику, – завтра, пожалуйста, ко мне. Поговорить надо».

«Так точно», – ответил наместник, сгорая от стыда.

И как раз в это самое время на колокольне раздались первые удары колоколов.

22. Краткая история отца Иова

История отца Иова была проста, незатейлива и обыкновенна.

Сначала, как и все неофиты, он посчитал себя призванным стать великим христианским святым, который будет покруче и Серафима Саровского, и Августина Блаженного. Духовные пейзажи, день за днем рисовавшиеся перед его внутренним взором, были одни и те же: толпы народа, которые просят у него благословения на последний и решающий бой с врагами Небесного Трона.

Эта быющая из него вполне бессмысленная энергия имела, однако, важные и далеко идущие последствия. Православный народ, который вообще не слишком разборчив в выборе батюшек, на этот раз оценил появление отца Иова как несомненный божий дар, который еще выгоднее смотрелся на фоне оборванных и малосимпатичных местных насельников.

Потом начался путь отца Иова к святости и славе.

«Великого сердца человек», – говорили ему, когда он отвозил домой пьяных, или навещал больных, или рассказывал детям о сотворении мира и Воскресении.

И народ отвечал ему тем же.

Уже не становились прихожане на исповеди к отцу Павлу

или отцу Зосиме, а норовили всеми правдами и неправдами стать в очередь к отцу Иову, чтобы потом долго и обстоятельно рассказывать ему о своих грехах или ждать советов относительно соседей, детей и работы.

Ровно то же самое происходило и при помазании: народ ломился к отцу Иову, тогда как отец Нектарий стоял, несколько задумавшись, потому что все никак не мог взять в толк, почему все идут на помазание к Иову, а не к нему, отцу Нектарию, как это было прежде. Когда же он, наконец, догадался, то чуть не упал и страшно сверкнул своими злобными глазками, отчего отец Иов почувствовал себя так нехорошо, что позабыл даже начало Символа веры, чему потом долго удивлялся сам.

Тем не менее, жизнь продолжалась, и толпы, стоящие к отцу Иову, не редели.

Множество женщин терпеливо ждали после окончания службы отца Иова, чтобы сообщить ему о своем мистическом опыте или попросить какие-нибудь специальные молитвы, которые помогли бы в борьбе с соседями.

Еще любили местные прихожанки залучить отца Иова в гости, и тут, в гостях, отдыхал он от своих дел, ведя умную беседу и ожидая обеда. По случаю дорогого гостя разогревали прихожанки самое вкусное, при виде которого отец Иов обычно стеснялся.

– Мне немного, немного, – бормотал он, зная, что, сколько ни бормочи, а все равно положат самого вкусного и, как

всегда, до самого края нальют от души.

Обед был, чаще всего, ритуальный, то есть такой, когда все сидели вокруг отца Иова, который, совмещая приятное с полезным, знакомил присутствующих с некоторыми истинами, которые он сам нашел на прошлой неделе, читая Евангелие.

Еще любили местные пейзажи подстеречь отца Иова возле двери в Братский корпус и спросить его, что он думает о католиках, или что он думает о седьмом члене Символа веры, или даже – что он думает о богослужении на русском языке.

Одно было нехорошо.

Не умел отец Иов общаться с людьми.

Не умел и к тому же не хотел уметь.

Может, натерпелся в детстве, отчего стал подозрительным, недоверчивым и скрытным, а может, догадался, что Бог – это вовсе не раздатчик всяких благ, которые можно было получить примерным поведением, – кто знает?

Постепенно, не сразу, проявились все его комплексы, от которых он и не думал избавляться, справедливо полагая, что раз уж Господь дал ему, среди прочего, еще и эти комплексы, то пусть Сам в них и разбирается.

О мере и глубине его падения свидетельствовал тот достоверный факт, что он до сих пор стеснялся своей монашеской одежды и никогда не ходил в поселок один, таская вечно кого-нибудь с собой и ссылаясь на апостольскую заповедь хо-

дить вдвоем.

– Пойдем-ка и мы, – говорил он обыкновенно отцу Фалафелю, который был у него в чем-то вроде услужения и всякий раз тащился за Иовом, как побитая собака.

Постепенно в поведении его проступало что-то новое, чего не было прежде.

Кто-то внимательный как-то сказал об этом:

– А батюшка-то наш, похоже, устал.

И верно.

Он уже не исповедовал, как прежде, долго и обстоятельно, но торопил кающихся, а часто даже обрывал их, когда они пытались сообщить ему подробности.

– Это Богу не надо, – говорил он, ничем не объясняя.

Затем он накидывал епитрахиль и буднично, а не торжественно, как прежде, читал молитву.

Дальше – больше.

Первым серьезным признаком грядущих перемен стало то, что отец Иов начал избегать ожидающих его после службы, для чего стал незаметно уходить раньше через второй придел или отсиживать в мощехранилище, ожидая, когда все, наконец, уйдут.

Теперь в храме после службы только и можно было услышать: «А где отца Иов?», «Вы не видели отца Иова?», «Мы договорились с отцом Иовом еще вчера!»

А отец Иов вместо того, чтобы почувствовать сострадание и жалость к своей пастве, взял да и почувствовал вдруг вкус

к разного рода вещам и вещицам, которые постепенно обретали жилище в его келии. Они словно наполнились для него новым смыслом, делаясь тяжелее, плотнее, желаннее. Конечно, он утешал себя тем, что вещи все же создания Божии, так же как звезды, трава, камни, а следовательно, нечего было в любви к вещам искать что-то греховное и порочное. Но размышления эти оказывались под рукой не всегда.

Потом Иов перестал ходить в гости, на дни рождения, на семейные торжества и прочее, уезжая при первой же возможности в новый строящийся в Столбушино скит.

Потом случилось негаданное. Какие-то южные родственники стали заваливать отца Иова деньгами на строительство этого самого Столбушинского скита, приглядевшись к которому можно было подумать, что, возводя эти здания, Господь решил немного пошутить, сообщив отцу Иову, что в некоторых местах молиться гораздо сподручнее, чем в других.

Между тем, отец Нектарий – который всегда хорошо знал, откуда дует денежный ветер – смотрел на отца Иова теперь уже не как прежде, а несколько с иным, широким чувством, которое можно было бы легко назвать *уважением*, если бы оно могло быть отнесено к отцу Нектарию. Скорее это было чувство удивления. «Ничего себе, пролез, – говорил взгляд отца Нектария, останавливаясь время от времени на отце Иове. – Ай да везун, ай да пострел. Это надо же. Такой тощий глист – и надо же, какие деньги».

Между тем, у отца Иова скоро появилась неприятная привычка заводить себе очередного фаворита и, подружив с ним какое-то время, без сожаления с ним расставаться.

Эта привычка означала, среди прочего, что в монастыре и в Столбушино постоянно паслись какие-то сомнительные лица, не то местные скинхеды, не то бывшие боксеры, от которых не было никакого проку, ну разве что пойти и сдать оставшиеся от них пустые бутылки, которых становилось все больше и больше.

Об отношении Иова к своим отодвинутым в сторону прихожанам лучше всего говорит один его сон, который приснился ему как-то под воскресенье.

Снилось же ему, что кто-то превратил какую-то неумную прихожанку в курицу, и теперь отец Иов гонялся за ней с ножом в руках и страшно сердился, сетуя, что у него не получается даже такой, с позволения сказать, ерунды.

– Слева, слева, давай! – кричали пьяные загонщики, а курица, между тем, обернулась и посмотрела на отца Иова большими и совершенно человеческими глазами. Потом она прокудахтала что-то непонятное, погрозила отцу Иову пальцем, упала и сдохла.

А вот в другом сне все было, напротив, непонятно, запутанно и туманно.

Снилось ему, что пришла к нему в Столбушино какая-то старушенция и спросила:

– А что это тут за хоромы-то у вас такие?

– Это мы все Богу строим, – отвечал отец Иов.

– Богу? – переспросила старушка, пожевав губами. – А на что они Богу-то?

– Ну как же, – сказал Иов, собираясь ответить внятно и несколько даже строго, чтобы собеседница понимала разницу между собой и отцом Иовом; так же, как понимал отец Иов разницу между собой и Богом, из чего ясно вытекало, что разница между старушкой и Богом была гораздо больше, чем между Богом и Иовом, чему он обрадовался и даже засмеялся, немедленно чая воскресение мертвых и жизни будущего века.

И утвердившись в этой простой, но справедливой мысли, он глубоко вздохнул и проснулся.

23. Кое-что еще про отца Иова

1

Однажды отец Иов, который учился в Псковском духовном училище, пересказывал курс лекций по русской церковной истории и говорил, отвечая на чей-то вопрос, так:

– До 17 века, собственно говоря, богословия как такового на Руси не было.

– И это хорошо, – добавил он, косясь в мою сторону. – Верить надо, а не думать.

2

И хоть и был завален отец Иов всевозможными дарами, подтверждающими, что он не последний человек в этом монастыре, а может, и в мире, но все-таки часто ночами не спал он, отдаваясь в эти часы всякого рода размышлениям. Все больше о его горестной судьбе были они, эти самые размыш-

ления. О том все больше, что жизнь и прежде была непонятной и сомнительной, а теперь же стала непонятной и сомнительной вдвойне. О том еще, что от Небес давно уже не было никакого вразумительного знака, который мог бы помочь или хотя бы объяснить — куда тебя несет и что ждет нас в конце, о котором мы тоже ничего не знаем.

3

Некоторые сны снились отцу Иову по несколько раз.

В последнее время снился ему сон о деньгах. Будто он стал чрезвычайно богат, да к тому же еще взял да и пролез в игольное ушко, а для того, чтобы никто не сомневался в этом, взял и пролез через него еще один раз.

И еще один сон имел место — сон про чудо превращения вина в воду. Был этот сон весьма своевременен, потому что местные трудники если пили, то пили безмерно и основательно, не останавливаясь до тех пор, пока не явился перед ними сам отец Иов и, видя печальное их положение, не обратил всю окрестную водку в воду, за что трудники его боготворили и кричали при виде его «Ура».

Сцена.

Отец Иов, отец Фалафель и Сергей-пасечник в Третьяковской галерее. Пасечник что-то рассказывает, благо, что он закончил ко всему прочему еще и искусствоведческий факультет МГУ, между тем как по ходу его рассказов отец Иов становится все мрачнее и мрачнее и, наконец, останавливается и, развернувшись, быстро идет к выходу.

– Что это с ним? – удивленно спрашивает Пасечник.

– А ты не знаешь? – говорит отец Фалафель.

– Ну, не до такой же степени, – возражает Пасечник, вызывая громкий смех отца Фалафеля.

А со стены на них укоризненно смотрят все восемьдесят заседающих членов государственного Совета.

24. Отец Илларион

1

Страшен был год 1918, но 1919 был, по свидетельству очевидцев, еще страшнее.

Мела поземка по ледяному насту, кружила метель, заметая еще видные тропинки и дорожки, подступали к самой дороге ранние сумерки, ржали лошади, увязая в снегу или скользя по предательскому льду, когда отряд только-только сформированных при городском райкоме чоновцев, перейдя мост, остановился в виду ближайшего монастыря, чьи золотые маковки слабо мерцали даже сквозь кружащую изо всех сил метель.

Возглавлял отряд странный человек с винтовкой за плечами, в длиннополой солдатской шинели, валенках и в двух треухах, повязанных один на другой. Был этот человек уже немолод, носил очки, и взгляд его из-под мокрых стекол был печален и, казалось, видел насквозь все, что происходит вокруг. Впрочем, если бы не этот быстро тающий на стеклах очков снег, то можно было бы подумать, что хозяин очков

беззвучно плачет, отворачиваясь от едущих за ним всадников и опасаясь, чтобы кто-нибудь не увидел текущие по его щекам слезы.

Человека с печальным взглядом звали Моисей Грозенбах. До 1905 года он был учителем в начальной гимназии, а потом примкнул к революции и вскоре стал профессиональным революционером, которого бросала судьба по всей России, а в начале 1919-го занесла в этот маленький городок на Украине, где по заданию партии он занимался сначала продовольствием и армейскими поставками, а потом организовал первый чоновский отряд, запомнившийся современникам, главным образом, количеством крови, пролитой ради светлого будущего всех униженных и оскорбленных.

Выл ветер в столетних дубах и гремело где-то сорванное кровельное железо, когда отряд Моисея остановился перед монастырскими воротами, в которые долго стучали прикладами и звонили в висящий у ворот небольшой колокол, чей погребальный звон как будто напоминал стоящим о близости смерти.

Наконец на этот звон открылась низенькая дверь, и на пороге появился старый монах, растрепанный и замерзший. Оглядев гостей он, ни слова не говоря, вновь исчез за дверью и, прокричав что-то в глубь монастыря, появился снова.

Потом ворота заскрипели и открылись, и чоновцы увидели пятерых или шестерых монахов, стоящих в стороне, возле голого дуба и держащих перед собой иконы так, словно

хотели отгородиться этими иконами от всего того, что они видели и слышали вокруг. Головы их были непокрыты, и ветер трепал седые волосы и слепил глаза.

Затем спешившийся Моисей Грозенбах отдал какой-то приказ, и, привязав у коновязи лошадей, чоновцы рассыпались по монастырю в поисках еды, ценностей и оружия, тогда как сам Моисей подошел к монахам и спросил, почему их так мало и кто из них будет игуменом Илларионом.

Голос его был печален, манеры вежливы, а глаза смотрели серьезно и понимающе.

В ответ вперед вышел старый монах, который сказал, что монастырская братия вся разбрелась кто куда, напуганная слухами и рассказами о грабежах и убийствах, что же касается игумена, то он сейчас спустится, на что Моисей Грозенбах ответил, что поднимется к настоятелю сам, пусть только кто-нибудь покажет ему дорогу в покои игумена.

– А с этими что? – спросил его один из чоновцев, оставленный стеречь монахов

– Охраняй пока, – сказал Моисей и вынул из запасного кармана белый платок, который почему-то до колик рассмешил и спрашивающего об остальных, и второго чоновца, на котором был надет женский платок и германская каска, выкрашенная в голубой цвет.

Так и запомнил их отец Илларион, как они стояли в своих раздуваемых ветром рясах, с иконами и задутыми свечами в замерзших руках, а снег все кружил вокруг них, все па-

дал на их головы и плечи мокрыми хлопьями, так что скоро у всех стоящих было одно желание – упасть в этот снег и, закрыв глаза, провалиться в последний сон, в конце которого их ждала Владычица и ее Сын, которые поведут их туда, где нет, не было и не будет ни забот, ни боли, ни смерти – ничего. Но прежде, конечно, следовало закончить со всеми земными делами, отчего начинало сильнее биться сердце и пробивал по позвоночнику холодный озноб – вестники боли, сомнения и отчаянья.

Потом монахи запели «Со святыми упокой», и это заунывное пение вспугнуло стаю замерзавших ворон и накрыло монастырь тоской и страхом, словно давая понять, что надежда навсегда оставила это место и уже не вернется.

О том же, что случилось в игуменских покоях, мы кое-что знаем от послушника Феодора, который, услышав на лестнице шаги поднимающихся чоновцев, спрятался за шкаф и просидел там почти до самого конца. Был он болен и подвержен эпилептическим припадкам, при этом волочил правую ногу, а вдобавок еще и косил, но суть дела, похоже, излагал верно, тем более что встреча Моисея Грозенбаха и архимандрита Иллариона длилась, кажется, совсем недолго, пожалуй, меньше часа.

А началась она с нижайшей просьбы Моисея Грозенбаха присесть в кресло у стола, за которым сидел сейчас Илларион, разбирая какие-то бумаги и кутаясь, по случаю стоящего в покоях холода, в кружевную женскую шаль.

В покаях и правда было зябко, потому что дров в монастыре почти не осталось, и игумен приказал с утра печей не разводить и сам подал пример, оставив себе лишь маленькую буржуйку, которая едва горела, зато уж чадила вполне исправно.

– А то ведь, – продолжал Моисей, спуская один за другим два треуха и расстегивая шинель, – у нас только и радости, что посидеть у огонька да поговорить с умным человеком, потому что все прочее время только о том и думаешь, доедет твоя лошадка до следующей деревни или околеет где-нибудь по дороге, провалившись в снежную яму.

Можно было подумать, что архимандрит ответит ему какой-нибудь сочувственной фразой, однако тот продолжал молчать, и только глаза его за стеклами очков смотрели неподобающе весело и насмешливо, словно знал он что-то такое, чего не знал и не мог знать ни сам Моисей Грозенбах, ни поющие внизу на дворе монахи, ни Михаил Архангел, распустивший свои крылья над покаями и равнодушно взирающий на человеческие дела и мнения.

– Что ж, можно и помолчать, – сказал мирно Грозенбах, стряхивая с шинели остатки снега и протирая платком очки. – Только как бы не получилось потом так, как в Орехове... Слышали, должно быть?.. Я сам там не был, но народ рассказывает такие вещи, что лучше их не слышать вовсе.

Он помолчал немного, а потом сказал, слегка понизив голос:

– Одним словом, говорят, будто двадцать монастырских живьем зарыли прямо в землю в этом самом Орехове. Должно быть, решили на патронах сэкономить.

И снова умолк, словно давая Иллариону возможность вставить слово. Но тот по-прежнему молчал.

– А знаешь, почему они понесли это наказание? – продолжал Моисей, и глубокая складка еще глубже легла на его переносицу. – Потому что пшеницы пожалели да по тайникам всю ее разнесли, а к этому еще вино в подполе для святых даров скрыли, а к ним еще сахар и греча, чтобы продержаться хотя бы эту зиму, как будто, кроме них, никто не хочет дожить до весны.

Он вдруг засмеялся и сразу же зашелся в кашле, который был похож, скорее, на собачий лай. Потом сказал:

– Вот ведь, преподобный, какие темные времена настали... Одни для ближнего пшеницу жалеют, другие – патроны, и все оно как-то не по человечески выходит.

И снова этот хриплый, собачий лай повис над покоем.

– Скажите, наконец, что вам угодно, – произнес, наконец, архимандрит Илларион, и голос его прозвучал откуда-то издалека, так, словно сам архимандрит был рядом, тогда как его голос звучал далеко-далеко, за тридевять земель, в каком-то далеком Орехове.

– Мне-то? – засмеялся Моисей, и, наконец, осторожно опустился напротив архимандрита на край скамьи. – А как твое высокопреосвященство сам думает?

Голос его был мягок и даже приветлив, говорил он спокойно, взвешивая слова, и это наверно было страшней, чем если бы он кричал, ругался и бил.

– Я ведь не отгадчик, – сказал отец Илларион, – и с нечистыми силами не знаюсь.

– Неужели? – в голосе Моисея почувствовалось едва различимое раздражение. – А ты все равно подумай, подумай. А то сидишь тут в тепле и довольстве, тогда как народ вокруг мрет и бежит прочь, а кого не добьет голод, того непременно угробят тиф или бандиты...

Потом он наклонился в сторону сидящего отца Иллариона и сказал, понизив голос:

– Может быть, поделишься своими богатствами, отче?.. Так чтобы мы по-мирному, по-хорошему разошлись.

– Богатствами? – переспросил архимандрит и негромко засмеялся. Потом он открыл один из ящиков стола и достал из него большую связку ключей, которую бросил на стол.

– Ты мне тут не особо бросайся, – сказал Моисей, звеня ключами. – Может, ты пока еще не понял, но все, что есть в этом монастыре, все принадлежат народу, а по-другому никак.. Народу, а не кучке висельников, от которых один только урон рабочему классу и всему пролетариату... Только не говори мне, что ты не понимаешь, что я имею в виду.

– Ни тепла, ни довольства здесь у нас давно уже нет, – отвечал ему Илларион.

– Спроси кого хочешь, да и сам посмотри, чтобы убедить-

ся... Дров для монастыря не можем заготовить, а ты говоришь – богатство, – сказал он с горечью.

– А ты меня жалостью-то не покупай, не надо. Научены мы уже, почем эта ваша жалость-то стоит... Подойди-ка, подойди-ка сюда поближе, – сказал он, быстро поднимаясь со скамьи и вслед за этим, как пушинку, поднимая из-за стола отца Иллариона, который доставал ему едва ли до плеча. – Иди-ка сюда, отче, да посмотри на эти монастырские стены да на эти каменные дома и мощенные камнем дороги... И ты хочешь сказать мне, что здесь не найдется места, куда можно спрятать ваше золото и ваше зерно?.. Или тебе плохо отсюда видно, отче?.. Так найди себе место, откуда тебе видно хорошо.

И он сжал железными пальцами плечо отца Иллариона, так что тот чуть не вскрикнул, а потом почти поволок его к большому, наполовину замерзшему окну, за которым бушевала метель и слышно было пение «Со святыми упокой», которую продолжала петь стоящая черным пятном на заснеженном пространстве монастырского двора монастырская братия.

Моисей подтолкнул отца Иллариона к окну, и тот увидел сверху и этих сбившихся у голого дуба монахов, и этих окруживших насельников людей с винтовками, и беспокойно топчущихся лошадей, привязанных к монастырской конюязи и время от времени подающих голоса, в которых можно было слышать страх и тревогу. Лиц людей было

отсюда не видно, но, даже находясь здесь, можно было услышать глубокий и сильный голос отца эконома, который перекрывал все прочие голоса, так что казалось, будто он поет один, тогда как все только негромко подпевали ему.

– Поют, однако, – сказал Моисей, стоя рядом с отцом Илларионом, и было непонятно, радуется он этому или, наоборот, печалится и гневается. Он отпустил плечо отца Иллариона, молча усадил его в кресло и сам сел напротив. Потом сказал:

– Слышал я про тебя, монах, давно слышал... Говорят, ты провидец, монах, и чужую жизнь видишь, как свою. Знаешь, что случится в будущем и что скрыто от людей минувшими временами... Тогда, может быть, ты расскажешь, каково оно, то светлое будущее, ради которого мы сегодня проливаем кровь и убиваем себе подобных, позабыв, что они наши братья?.. Или, может, даром говорят про тебя, что ангелы небесные спускаются на землю, чтобы открыть тебе будущие тайны, земные и небесные?

– Не стоит повторять глупости, которые говорят люди, когда теряют опору и не знают, что делать дальше, – негромко сказал отец Илларион, поглаживая плечо, за которое его только что держал Моисей. – А что до ангелов и будущего, то не надо быть большим прозорливцем, чтобы увидеть то, что происходит и что еще долго будет продолжаться на этой несчастной земле, потому что Господь все милостивый обрек нас всех на позор и разорение, доколе не придем в себя и не

покаемся кровавым покаянием.

– Хорошо говоришь, монах, – сказал Моисей и негромко засмеялся. – Выходит, что все мы – это только скромные орудия в руках Господних, не знающие, куда поплывет наш корабль завтра и что нам ждать от будущего... Верно, отче?

– Один Бог знает, что нас ждет нас в будущем, – отвечал Илларион, закрывая ладонью глаза, словно это будущее уже стояло перед ним и требовало, чтобы его поскорее впустили. – Достаточно, что мы верно передаем божественные слова, пытаясь не исказить их первоначального смысла. Ведь Господь не требует от нас, чтобы мы творили чудеса или предсказывали будущее. Все, что он хочет от нас, это то, чтобы мы внимали его словам и пытались хоть иногда жить соответственно этим словам.

Пока он говорил, Моисей медленно поднялся с кресла, отошел от окна и сделал несколько шагов. Потом он сказал:

– Знаешь, старик, что я больше всего не люблю ни в монахах, ни в белом духовенстве?.. Это то, что никто из них не желает взять на себя ответственность за все, что происходит в мире, и что все, от мала до велика, привычно валят на Господа... Вот ты говоришь: «Бог знает будущее, а мы нет», – продолжал Моисей остановившись у окна. – А ведь это и значит валить на Бога всю ответственность, освобождая от нее себя и называя это «Божьей волей», или «Провидением», или еще как угодно, лишь бы оно не обрекало тебя на ответственность, которая ведь всегда рядом, всегда где-то

поблизости, стоит только захотеть ее увидеть.

Повисшая в покоях тишина заставила снова услышать доносящееся снизу пение монахов.

Потом Моисей Грозенбах сказал:

– Тоже ведь и с Христом, которого вы превратили в источник дохода. Он-то пришел, чтобы донести вам слово об ответственности каждого, а вы вместо этого полюбили пустые рассуждения и власть, а еще каменные здания, мамону и разодетых епископов, которые толкуют, как хотят, слово Божие и поворачивают его так, как это им удобно...

Он негромко засмеялся, как будто в сказанном им и в самом деле было что-то смешное, и вновь этот смех напомнил хриплый собачий лай.

– Впрочем, – негромко сказал он, поворачиваясь к окну и глядя, как кружит за стеклом густой снег, – я хотел спросить тебя о другом, отче...

Он помолчал, продолжая смотреть на падающий снег, затем резко повернулся спиной к окну и сказал:

– Вот что я хотел тебя спросить, монах... Ответь, если знаешь. Отчего пролитая нами кровь врагов не становится для нас нужным источником радости и утешения, а, напротив, тревожит все сильнее и сильнее, словно с каждой победой нас ожидает тяжелое поражение?

Голос его был печален и глух.

– Отчего, – продолжал он, – с каждым убитым, повешенным, покалеченным и сожженным радость уходит от тебя,

а на ее место приходит равнодушие, сомнение и усталость? А ведь так не должно быть, отче. Потому что мы бьемся и убиваем не для собственного удовольствия, а во имя светлого будущего, которое приближается к нам с каждым убитым все ближе и ближе. Так отчего же тогда мы чувствуем не радость, а тоску, печаль и горечь?.. Отчего будущее страшит и пугает нас, так что мы боимся его и стараемся забыть о нем в вине и разгуле?.. Отчего радость – редкий гость в наших сердцах, и чем дальше, тем больше становится вокруг тех, кто перестает походить на людей?

– Оттого это, – торопливо, но твердо отвечал отец Илларион, – что на каждом шагу вы творите несправедливые дела, которые падают на вас, как падает сегодня этот снег. А еще оттого, что вы забыли имя Господне и теперь не знаете, ни куда вам идти, ни кого вам слушать, ослепленные своими фантазиями и вымыслами.

История не донесла до нас, что еще сказал архимандрит Илларион, но зато мы знаем, что Моисей Грозенбах в ответ на слова архимандрита громко рассмеялся, и такой горький смех, должно быть, слышали монастырские стены не часто. Были в нем безнадежность и тоска, а еще мрак одиночества, боль и страх – много чего можно было услышать в этом смехе, но не было в нем ни покоя, ни мужества, ни надежды, ни радости.

Потом Грозенбах снял и вытер свои очки все тем же белым платком и сказал:

– Это все одни только слова, монах. И мы с тобой очень хорошо это знаем. Я тоже сначала было думал, что в мире все обстоит, как надо, опираясь на незыблемый порядок, выше которого не было уже ничего. Думал, что если ты заслужил награду, то ты ее рано или поздно обязательно получишь. А если ты в чем-то действительно провинился, то возмездие обязательно тебя настигнет, ибо так справедливо устроен мир, и не наше дело обсуждать его. Но в действительности все на этой земле обстоит совсем иначе, так что правильным может считаться только то, что приносит тебе радость, а неправильным – то, что эту радость отнимает... И это так же верно, отче, как и то, что солнце правды одинаково встает и над мертвыми, и над живыми.

Он помолчал немного, потом поднял голову, посмотрел прямо в глаза Иллариону, и тот вдруг увидел перед собой всего лишь испуганного и заблудшего человека, не знающего, зачем он живет и долго ли еще длиться его мукам и страданиям.

И этот несчастный и ничего не знающий, кроме крови своих врагов, испуганный человек, сказал:

– А теперь я спрошу у тебя или у любого, кто захочет ответить мне, куда же она делась, эта радость?.. Разве Маркс не говорил, что после победы пролетариата начнется новая, счастливая и небывалая жизнь? А ведь это и значит, что везде в мире должны быть радость и счастье, потому что без радости не может жить на нашей земле ни человек, ни зверь.

И опять архимандрит начал говорить в ответ правильные и понятные слова, с которыми было трудно не согласиться, хотя, прислушавшись, нетрудно было заметить, что эти правильные слова совсем мертвы, словно они были склеены из картона и бумаги, оставаясь холодными и не требуя для своего понимания ни сердца, ни ума. И чувствуя этот холод, Илларион сказал:

– Радость от Бога.

Так, словно он защищался от того, о чем говорил Грозенбах.

– Кабы так, – сказал Грозенбах и негромко засмеялся, – кабы так, отче... Вот только разве Его занимают наши дела?.. Разве торопится Он помочь тем, кому нужна помощь?.. А если и торопится, то почему, скажи на милость, наша боль не только не смягчается со временем, но с каждым днем становится все сильнее и сильнее?.. Почему Он ничем не успокоит наши сомнения, а, наоборот, посылает нам истины, от которых перехватывает дыхание и ужас, не переставая, стучит в наши двери?.. Иногда мне кажется, – продолжал Грозенбах, понижая голос и потирая руки, – что Он просто питается нашей радостью, ест ее кусок за куском, и, завидуя радуящимся, немедленно приходит в ярость и готов уничтожить весь мир.

Он вновь замолчал, и Илларион увидел его мертвый, давно уже потухший взгляд, на дне которого гнездились безумие, готовое в любой момент выйти наружу.

И все же он сказал:

– Почему-то все думают, что Бог что-то нам всем должен, – Илларион старался не отводить своего взгляда от мертвых глаз Грозенбаха. – Вот как вы, уверенный в том, что Бог в любую минуту готов оставить все свои дела, чтобы заняться вами, тогда как на самом деле это мы – вечные должники, стоящие перед Богом и ждущие, когда Он обратит на нас внимание.

– Кому же Он нужен, этот Бог, который не может дать тебе радости или торгуется из-за одного светлого дня?

– А зачем человеку Бог, который идет у него на поводу и исполняет все его нелепые желания? – сказал отец Илларион, вновь упираясь взглядом в мертвые глаза Грозенбаха.

Ему следовало бы, конечно, промолчать, но он уже чувствовал, как теплая волна подняла и понесла его прочь отсюда – туда, где не могли достать ни человеческая злоба, ни глупость, ни козни самого врага рода человеческого.

– Бог, – сказал он, не отводя взгляда от Моисея и пытаясь говорить громче. – Да что ты знаешь о Боге, человек?.. Ты думаешь, наверное, что Бог – это то, что мы прочитали в толстых книгах или то, что мы слышали от других, тогда как мы познаем каждый день, что Бог – это каждодневная молитва, которой нет ни начала, ни конца. Это прохлада камня, на который ты ступаешь, и свист осеннего ветра, который срывает последние листья. Он приходит вместе с утренним дуновением ветра и первым солнечным лучом. Он загорается

небесной радугой и напоминает о себе весенним ливнем. Он скрывается в сумерках и рассыпает по ночному небу звезды. Пригоняет с шумом прилив и вновь гонит его прочь. Он прячется в улыбке влюбленного и плачет над каждым умершим, словно они его дети. Он складывает, умножает, возводит дворцы и поднимает в воздух самолеты. Он стоит у твоей двери и дышит тебе в затылок в ожидании, когда ты, наконец, обернешься и откроешь ему свое сердце, хотя Он и без того знает каждый твой шаг и каждое движение твоего сердца...

– Врешь! – перебил его Моисей, и голос его задрожал. – Врешь, отче. Ничего Он не знает и уж, во всяком случае, не хочет ничего знать... Вот что я расскажу тебе. Однажды я был на мукомольной фабрике в Киеве. Там огромные каменные жернова поворачивались, гремели и вновь возвращались назад, не останавливая свою работу ни на одну минуту. И я подумал тогда, что, наверное, все это похоже на Бога, который делает свою работу уже много миллионов лет и так же будет продолжать делать ее еще миллионы лет в грохоте и железном лязге, не думая о человеке или, может быть, даже ничего толком не зная ни о нем, ни о том, что заставляет Его поднимать и опускать эти камни и слушать, как гремит и гудит тусклое железо...

Он перевел дух и продолжал, глухо и без выражения:

– В самое страшное, самое невыносимое время моей жизни я спрашивал Его – правильной ли дорогой мы идем, на-

деясь, что Он пошлет мне знак и облегчит мои муки. Но Он ничего не послал мне. Даже паршивой радуги, которую он разбрасывал всегда налево и направо. И тогда я подумал, что раз уж никто не хочет взять на себя ответственность за мою жизнь, то ее возьму я сам, да заодно и за весь мир, в который мы попали неизвестно зачем... И когда я понял это, то услышал голос, который сказал мне: «Моисей, Моисей! Отныне ты свободен, потому что сам выбираешь свои пути»... И вот с тех пор, отче, я плыву в своей лодке туда, куда посчитаю нужным, опираясь только на свой опыт, который пока еще ни разу меня не обманул...

– Дьявол нашептал тебе эту ложь, – сказал Илларион, с ужасом глядя на собеседника. – Как же ты осмелился взять на себя то, что подвластно одному только Всевышнему?.. Или Ад уже не страшит тебя?

– Открою тебе небольшой секрет, отче, – с мертвой улыбкой сказал Моисей, поднимаясь с кресла, – Ад действительно не страшен тому, кто взял всю ответственность за мир и за себя, не ссылаясь на обстоятельства и направляя свой путь туда, куда он считает нужным... Что ему Ад, отче, – продолжал он, поднимая почти до крика свой голос, – что ему до адского пламени, если даже в адском огне он остается свободным человеком, отвечающим за свою жизнь и свои деяния?.. А вот ты, монах, со всей своей святостью вечно будешь гореть в огне, и некому будет подать тебе глоток воды или вытереть потный лоб... Впрочем, довольно об этом... Я

ведь спрашивал тебя о радости, отче... О радости, которую трудно удержать и которая уходит от нас, не спрашивая нашего разрешения, как будто мы в чем-то перед ней виноваты... Но теперь я вижу, что ты тоже не можешь ответить мне на этот вопрос... Тогда, быть может, займемся чем-нибудь попроще?

Он подошел к сидящему Иллариону и потряс перед ним все тем же белым платком.

– Видишь этот платок, отче? – сказал он, и в глазах его появился какой-то новый свет, которого не было прежде. – Угадай-ка теперь, если я высунусь в форточку и им потрясу, где его увидят раньше, в Преисподней или в Раю?.. И какая награда ждет играющего в эти небесные кости, если окажется, что я выиграл по всем статьям?.. Ответь, отче.

– Откуда мне это знать, – тихо сказал отец архимандрит, чувствуя, как что-то ужасное, не имеющее ни вида, ни облика медленно просачивается сквозь стены и окна, заставляя леденеть от холода всех, кто еще не научился слышать.

– Откуда мне знать, – передразнил его Моисей и вновь глухо засмеялся.

– И это говорит тот, кого Бог избрал быть примером для всех нас, – продолжал он, высоко поднимая белый платок. Потом он открыл нижнюю форточку и, окликнув кого-то стоящего внизу, замахал платком, далеко высунув из форточки руку.

«Словно бьющаяся птица», – почему-то успел подумать

Илларион.

Снизу что-то прокричали, и в ответ Моисей вновь потряс в воздухе платком, и сразу же во дворе, слегка приглушенные стеной и оконным стеклом, ударили по барабанным перепонкам, загрохотали винтовочные выстрелы, разбегающиеся эхом по монастырю.

Станным могло показаться, что отец Илларион не тронулся с места, не вздрогнул и не вскрикнул, но по-прежнему сидел, не отводя взгляда от улыбающегося Моисея.

Затем выстрелы прекратились, но зато еще отчетливей сделался голос отца эконома, по-прежнему плывущий над монастырем.

«Со святыми упокой», – пел этот, едва слышный, голос.

– Ну-ка, ну-ка, – сказал Моисей, заглядывая в окно, – что это тут у нас за певец?

Там, посреди лежащих тел, стоял отец эконом и из последних сил пел «Со святыми упокой»... Потом он попятился и, размазывая по лицу кровь, сначала сел и только потом упал, продолжая хрипеть.

Чей-то одиночный выстрел навсегда прервал его пение.

– Вот и все, – сказал Моисей и глубоко вздохнул, как будто закончил тяжелую работу.

Потом наступила тишина, и только стая замерзших воронов, каркая и галдя, поднялась над монастырем и сразу же вернулась обратно.

– Да ты, я посмотрю, совсем бесчувственный какой-то, –

сказал, наконец, Грозенбах, подходя к сидящему архимандриту. – Ну, давай, давай, поплачь над своими друзьями, которые сейчас стучат в ворота Царствия Небесного и уже больше не будут обманывать простого человека, у которого иной раз и копейки-то в кармане не найдется, чтобы подать на поминование... А может быть, им всем самое время попенять перед Царствием Небесным о черствости народа, который тащит в церковь последнее, а в ответ получает слезливые проповеди, из которых следует, что ему следует молчать и смиряться, потому что самое главное уже решили без него? Вспомни хотя бы золотые кареты ваших епископов, у которых хватало наглости разъезжать в них, в то время как народ голодал и умирал и в деревнях, и в городах... А может, заодно они вспомнят, как благословляли миллионы солдат идти на братоубийственную войну и гибнуть там за ваши денежные мешки?.. Или как они благословляли вешать, расстреливать, сажать и ссылать ни в чем не виноватых людей?.. О, я думаю, им будет, что рассказать своему Господу, будет, чем Его обрадовать!

Кажется, именно тогда отец Илларион заговорил, и голос его, слабый и далекий, был, тем не менее, хорошо слышен послушнику Феодору, укрывшемуся в шкафу для праздничных облачений.

– Чем ты хочешь удивить нас, человек? – сказал он, с трудом шевеля губами. – Не тем ли, что мы уже три дня как ждем тебя, потому что сам Господь открыл нам, что ты при-

дешь на исходе недели?.. Или, может, тем, что Он позволил остаться тем из монахов, кто был уже давно готов к смерти, тогда как остальным Он разрешил уйти?.. Или ты забыл, что Господь стоит у каждого из нас за плечами и знает наши самые потаенные мысли?

Сказав это, отец Илларион вдруг уронил голову на грудь и стал медленно сползать с кресла.

– Тихо, тихо, – Моисей успел подхватить падающего архимандрита. – Не бойсь, милый, не бойсь, – продолжал он, удерживая падающего за плечо. – Или ты думаешь, что сможешь им этими своими выкрутасами?.. Так я тебе скажу, что ничем ты уже им не поможешь, потому что что-что, а стрелять мои хлопчики умеют хорошо.

В ответ, отец Илларион громко простонал и открыл глаза.

– Вот, вот, – сказал Моисей, усаживая Иллариона в кресло, – так-то лучше. Сиди тут... А Небеса и без тебя разберутся, если захотят.

В этот момент Илларион тоже что-то сказал, но голос его был так тих, что никто его не расслышал. Поэтому он собрался с силами и повторил:

– Что ж... Можешь теперь убить меня, человек. Убей меня, и, может быть, Всевышний поставит тебе это в заслугу.

– Ну уж нет, отче, – сказал Моисей и вновь рассмеялся. – Ты, видно, сам не понимаешь, что несешь, архимандрит... Вижу, ты опять хочешь проскочить мимо всех, чтобы не платить за вход и спихнуть с себя ответственность, которая да-

вит тебя, как могильная плита!.. Нет, нет, отче. Не выйдет это. Потому что прежде, чем спрятаться в могиле, ты сначала походи по земле, посмотри, как живут вокруг люди, посмотри на все эти ужасы, на эту кровь, которой становится все больше, а посмотрев, сядь куда-нибудь в сторону и прокляни этого Бога, который прячется и за эту кровь, и за эти мертвые тела, и за эту нищету, отчаянье и голод – словом, за все то, что мы называем «злом» и что не перестает смеяться оттуда над нами... Вот тогда, может, Он и услышит тебя, а может, даже ответит... А то слишком уж все у вас просто... Нет, отче... Лучше подари Господу свою ненависть, свои богохульства да свое неверие и отчаянье в придачу, как это сделал когда-то я, когда проклял и Его, и все Его бесполезное воинство, и всех Его самодовольных святых, годных только на то, чтобы рассказывать дуракам свои нелепые сказки!..

Затем Моисей слегка помедлил и по-прежнему негромко и глухо сказал:

– И тогда случается, что Он ненадолго приходит к тебе, чтобы отдохнуть у твоего порога или рассказать какую-нибудь историю, на дне которой можно найти немного надежды.

– В руки Господа передаю дыхание мое и жизнь мою, – закрывая глаза, неожиданно громко сказал вдруг отец Илларион, словно хотел этими словами отгородиться от того, что говорил Моисей.

– Что, что, что? – сказал Моисей, поворачивая к Илла-

риону. – А не страшно, отче? – продолжал он, подходя еще ближе. – Что, как Господь не на твоей стороне, а?.. Что, если Он на стороне сильных, потому что Он сам сильный и ненавидит слюнтяев и слабаков?.. Что, если Ему милее винтовка, а не ваши песнопения и молитвы?

– Тому, кто на Господа своего уповает, не страшны ни люди, ни ангелы, ни мор, ни сама смерть, – не слушая, громко продолжал Илларион, глядя куда-то в сторону, словно он разговаривал не с Моисеем, а с каким-то невидимым собеседником, который прятался где-то в подсобных помещениях, не желая никому до времени показываться.

– А знаешь, что на самом деле говорил Спаситель? – сказал Моисей, не слушая Иллариона. Голос его перешел почти на шепот.

– Он говорил – только трус не войдет в Царствие Божие... Только трус, отче... А это значит, что не войдет в него тот, кто взвалил на чужие плечи груз своей собственной ответственности, кто переложил его на святых отцов, на Церковь, на книги или на старцев, кто испугался и посчитал, что лучше не поверить Богу, чем тащить на себе тяжесть твоей ответственности, которой нет конца.

– Там, куда поведет Он нас, где взвесит каждое сердце и найдет его у одних мягким, как воск, а у других твердым, как камень, – там никто не будет отличаться один от другого, ибо каждый найдет себе место подле Всемилоственного и ответит на обращенные к себе вечные слова Его, – говорил, между

тем отец Илларион, похоже, погружаясь в какой-то странный восторг, которому не было объяснения.

– И еще говорит Спаситель, – продолжал Моисей, – что человеку следует, не переставая, стучаться в запертые двери в ожидании часа, когда ему откроют. Вот только не говорит Он, где нам искать их, эти чертовы двери, и куда они нас приведут, если вообще здесь уместно говорить о цели.

Странный был этот разговор двух людей, не слушающих друг друга и все же пытающихся что-то сказать друг другу, тогда как еще не остыли во дворе тела мертвых монахов, и ложившийся на их лоб и щеки снег, должно быть, еще таял.

А ветер все кружил мокрые хлопья, стучал в окна и бился сорванными листьями жести, и казалось, что еще немного – и ветер сорвет крышу или, выбив стекла, ворвется в монастырские строения и будет гулять там, круша все, что встретит на своем пути.

Потом Моисей взял Иллариона за плечо и повел его сначала до лестничной площадки, где замерзала высокая пальма, а потом по лестнице, где по стенам висели портреты когда-то известных и малоизвестных игуменов, пока, наконец, уже внизу не подтолкнул Иллариона к ведущей на улицу двери, которую он сам же потом и растворил ударом ноги, навстречу снегу, ветру и обледенелому монастырскому двору.

Потом он вышел вслед за Илларионом во двор и слегка подтолкнул его к воротам монастыря.

– Иди, – сказал он, отворачиваясь от ветра.

Но Илларион никуда не пошел, а опустился на колени и пополз к телам убитых монахов, которые теперь едва виднелись под падающим мокрым снегом.

– Оставь, оставь, – сказал Моисей одному из чоновцев, который полез отгонять Иллариона от мертвых тел. – Не видишь, у человека горе. А ты – гнать.

Некоторые чоновцы засмеялись, посчитав сказанное шуткой, но архимандрита больше не трогали.

Между тем, Илларион дополз до мертвых и начал крестить и целовать их, закрывая им глаза и сметая с их лиц мокрый снег. Похоже, он что-то шептал им в уши, наверное, что-то очень важное, без чего невозможно было обойтись, а ветер шевелил их волосы, так что издали казалось, что они отвечают ему.

Так прошло четверть часа.

– Ну, будет, – сказал, наконец, Моисей, подходя и одним рывком поднимая Иллариона на ноги.

И еще раз приподнял и поставил его, словно воткнул его в снежный наст, чтобы тот не упал.

– Коль беспокоишься насчет погребения, то оставь, пустое, будет тебе погребение. Сейчас своих поставлю копать, вмиг зароят, – Моисей стряхнул с плеч и головы Иллариона налипший снег.

Потом он немного помедлил и сказал:

– И вот тебе мое благословение, старик. Случись так, что вы несли бы на своих плечах груз ответственности, может,

все и повернулось бы совсем не так, как оно повернулось теперь. Ты бы ходил тогда вокруг крестным ходом, а я бы до сих пор учил бы детишек в начальной школе, и все были бы довольны. Но коль вы от ответственности отказались, то и Бог ваш по этой причине отказался от вас и захотел, чтобы вы сами выбирались из каши, которую вы же и заварили... Теперь-то ты знаешь, кто мы такие, отче... — голос его стал вдруг громче и решительней. — Мы те, кому выпало рушить и уничтожать ради будущей радости, без которой нет в жизни никакого смысла... Мы Божьи псы, которым дан на откуп этот гнилой мир, за чью судьбу мы несем ответственность, всегда готовые остановить всякого, кто встанет нам поперек пути.

Он закашлялся и, наклонившись, зачерпнул и съел немного снега. Потом добавил:

— А теперь иди и радуйся, отче, веселись тому, что Небеса дают тебе еще одну возможность взять ответственность, если и не за весь мир, то хотя бы за твою собственную жизнь.

Затем он опять легонько подтолкнул Иллариона, который сделал, наконец, два первых шага в сторону монастырских ворот и сразу был засыпан падающим снегом, который то метался, забираясь под одежду, а то вдруг становился послушным и снова кружил вокруг идущего Иллариона, словно верная собака.

— Померзнет старик-то, — сказал один чоновец, глядя как мутнеет постепенно удаляющаяся к воротам фигура Илла-

риона. — Палец кладу, что замерзнет.

— Так и черт с ним, — отозвался другой. — Он тебе что, кум?

2

Как удалось отцу Иллариону пройти пять километров до человеческого жилья — этого мы не знаем. Известно только, что, едва живого, его случайно нашли при въезде в уездный городок Р*, почти засыпанного снегом, с отмороженными ногами и бредящего про какое-то бессмертие, которого он не просил и от которого теперь решительно отказывался, требуя заверить свой отказ на гербовой бумаге подписью нотариуса.

Был, впрочем, и еще один источник нашей истории.

Я имею в виду местную легенду, сохранившуюся благодаря спасшемуся послушнику Феодору, который до конца своих дней считал ее правдой. Эта легенда рассказывала о том, что стоило отцу Иллариону выйти в монастырский двор, как сразу стихла метель и солнце вдруг вышло из-за снежных туч, чтобы ненадолго залить монастырь бьющим отовсюду ослепительным светом.

И Голос, который раздался из этого ослепительного света, сказал:

— Зачем ты хочешь обмануть самого себя, Илларион? За-

чем бежишь, как Иов, прячущийся среди скал? Разве этому учил Я тебя, повиснув на кресте? И разве нужны мне все эти оправдания, словно уже пришло твое время, и ты спешишь поскорее отчитаться передо мной?.. Или, может, ты забыл, что Я создал вас свободными, словно ветер, и дал способность отличать Божественное от человеческого, доброе от злого, истинное от ложного... Случись такое, и тебе было бы лучше не родиться на свет, а, родившись, поскорее укрыться в преисподней, где все валят друг на друга, позабыв, что такое ответственность...

И сказав так, Голос рассмеялся и умолк.

И было затем явление, от которого стыла спина и перехватывало дыхание.

Шевелились, стонали и поднимались, словно после долгого сна, убиенные монахи и, не успев понять, что происходит, на глазах обрастали перьями, били крыльями и с птичьим криком кружили над монастырем, словно прощались и с ним, и с Илларионом, и с прежней жизнью.

И Голос, который был совсем рядом, вновь сказал:

– Слушай, что я тебе скажу, Илларион... Доколе не спадет с тебя человеческая плоть, будешь ты жить вместе с людьми, невидимый, одинокий, занятый только тем, чтобы ответить на человеческие сомнения и донести до других голос Истины.

И с этими словами Говорящий исчез.

25. Под горячую руку

Характер Нектария был таков, что время от времени наместник чувствовал необходимость на кого-то наорать, кому-то нахамить, кого-то приструнить, оскорбить, оборвать, да так, что, выходя на прогулку в монастырский садик, он мог – не находя другого объекта – наорать на сидящих на стене галок и даже пробежать за ними метра два, размахивая своей палкой и изрыгая отнюдь не божественные слова. Однажды я видел такую картину. Нектарий кричал на кошку Мурзика, которая жила подаванием из монастырской столовой.

– Пошла вон, противная кошка, – орал он, махая рукой. – Чертова потаскуха! Противная, гадкая, чтобы я тебя здесь больше не видел!

Мальчик, сидящий с мамой на соседней скамейке, спросил:

– А батюшка не любит кошек?

На что его находчивая мама ответила:

– Только непослушных.

Иногда, не так чтобы часто, случалось с отцом Нектарием известного рода недомогание, и тогда характер его открывался вполне. Сваливалось это недомогание обычно как снег на голову, и монастырь при этом известии как-то сразу сти-

хал, хоронился, расходился по келиям, хотя – положи руку на сердце – дело было совершенно житейское и, уж во всяком случае, не такое, чтобы бить в колокола и созывать народ на молебен. Тем не менее, видя приближение болезни, Маркелл закрывал дверь на ключ и говорил всем, кто спрашивал, что отец наместник подхватил простуду, но к завтрашнему дню обещал выздороветь. Обещание это чаще всего исполнялось, и отец наместник появлялся на людях утром следующего дня уже вполне здоровым и даже сильно помолодевшим. Но случилось, что болезнь затягивалась, и тогда монастырь начинал походить на собаку, которая, поджав уши и хвост, пыталась своим покорным видом разжалобить бессердечного хозяина, хоть и была ни в чем не виновата.

Попасть под руку болящего отца Нектария было несладко.

– Ты кто?

– Я? Сергей.

– И чего тебе?

– Вы меня звали?

– Кто? Я? Тебя?.. Кто тебе сказал?

– Алипий.

– Алипий. А ну давай его сюда.

Долго ищут Алипия, затем приводят его к наместнику, который уже и забыл, зачем посылал.

– Ты кто?

– Я Алипий.

– Зачем пришел?

- Так ведь вызывали.
- Кто? Я?.. Кто тебе сказал?
- Отец Фалафель.
- А ну-ка давайте его сюда.

Проходит еще полчаса в поисках Фалафеля. Наконец он появляется и, застенчиво улыбаясь, останавливается напротив наместника.

- Ты кто?
- Я?.. Фалафель.
- Чего приперся?
- Мне сказали, что вы меня зовете.
- Кто? Я? Ты сдурел, что ли? А ну-ка, садитесь все быстро!

Все садятся.

Оглядывая злобным взглядом присутствующих:

– Вы что думаете? Из монастыря захотели? Вы думаете, я не знаю, как вы к наместнику относитесь?.. Да еще у него за спиной?.. Да я только одно слово скажу, как вы все у меня полетите тут верх тормашками... Быстро полетите все вон... И ты тоже, – добавляет он, особо почему-то отличая отца Фалафеля и показывая на него пальцем.

Фалафель молчит.

- Ты оглох?
- Да, нет вроде. На слух не жалуюсь.
- Поговори у меня... Чтобы завтра твоего духа тут не было.

– Как скажете, – смиренно говорит отец Фалафель, не в первый раз изгоняемый из монастыря отцом наместником.

– И ты тоже, – говорит наместник, разочарованный реакцией Фалафеля. – И ты!.. И ты! И ты тоже... Вон все из монастыря!.. Чтобы я вас больше тут не видел... Ишь, наместник им не нравится. А кто вам нравится, интересно? Может, духовник ваш чертов? Так он первый вылетит отсюда прочь, так что даже его богатая мамочка не поможет!.. Где он?

– Кто, батюшка?

– Ты что, дурак?... Где духовник ваш, Иов?

– Так ведь он в Столбушино.

– Так приведите его сюда, пока я вас всех...

На следующий день, с утра, происходят два события. Во-первых, отец наместник появляется на утренней трапезе, что случается с ним крайне редко, а во-вторых, утренняя трапеза проходит в совершенном молчании. Слышно только звяканье ложек и тихие просьбы передать хлеб или салат. Отец наместник тоже сидит молча, не пытаясь ни разговаривать, ни острить.

Потом он стучит несколько раз чайной ложкой по пустой чашке и говорит негромко, слегка смущаясь и ни к кому в особенности не обращаясь:

– Благодарю за понимание.

Пауза. Всеобщая неловкость. Спектакль заканчивается. Занавес.

26. Краткое замечание о природе терроризма

Это было давно.

Но с тех пор ничего не изменилось.

Что-то подсказывает мне, что не изменится и впредь.

Возвращаюсь домой из поселка. Иду по турбазе, а затем по туристской тропе. Навстречу – Петя и Тамара. На Пете – его вечная кожаная, неопределенного цвета, шинель, в которой он родился и в которой, по всей видимости, и умрет. Когда-то белый картуз чудом держится на затылке. Сразу видно, что Петя очень расстроен. Размахивает руками, заикается, матерится. На лице Тамары – тоже неподдельные печаль и грусть.

– Петя, – говорю я, надеясь, что он не будет слишком заикаться. – Что случилось?.. Или тебя погнали с места деревенского старосты?.. Тогда прими мои искренние соболезнования.

– Ты слушай... Слушай... Слушай... – бормочет Петя, помогая себе руками. – Ты, вон, не понимаешь, наверное, как нашего бра...та рабочего дурят... Рабо...чега... Чаго... Чего... Чего... Го...Го...

– Я и не знал, что ты рабочий, – говорю я, пытаюсь представить Петю возле доменной печи или, на худой конец, рядом с токарным станком.

Но тут Петя закашливается, начинает икать и издает сразу столько нелепых звуков, что вопрос о его рабочем происхождении остается само собой открытым.

Откашлявшись же, он поправляет картуз и говорит, почти не заикаясь:

– Ты, вон, небось, с рынка идешь, продовольствие несешь, а того не знаешь, как советская власть издевается над народом.

Тут он снова матерится и машет руками.

– И как? – интересуюсь я.

– А так, что мне вчера бумага пришла. А в бумаге знаешь, что?

– Понятия не имею, – говорю я.

– Так вот, чтобы ты знал. Написано там, что по случаю Дня победы все ветераны получают добавки к пенсии... Знаешь, сколько?

– Понятия не имею.

– Пятьсот рублей на одного ветерана.

И он внимательно смотрит на меня, желая, чтобы я оценил.

– Впечатляет, – говорю. – Не знал, что ты ветеран.

– А кто я такой, по-твоему?.. Я ветеран хозяйственного взвода, комиссованный по случаю болезни.

– Ну и чем ты теперь недоволен?

– А тем, мил человек, что эти вот пятьсот рублей никому на самом деле не дают, а за эти деньги заставляют тебя подписаться на какую-то газету, которую я в глаза никогда не видел... Вот взять бы бомбу...

И Петя показывает, не переставая материться, как он берет и швыряет эту самую бомбу в теток из Собеса, и на лице его появляется мечтательное выражение, а внутренний взор несется далеко-далеко – туда, где в волшебной стране можно запросто купить в магазине бомбу и совершить с ее помощью нечто ужасное, нечто выходящее за все границы, а с другой – вполне заслуженное, по крайней мере, в отношении раздатчиков пятисотрублевых бумажек, способных только подписывать тебя на никому не нужные сомнительные газеты.

Господь, возможно, и не одобрил бы ни нас, ни наших оправданий. Но почему тогда, проходя мимо, Он все-таки слегка подмигнул нам и улыбнулся?

27. Видение отца Фалафеля

И было однажды отцу Фалафелю зримое видение, посланное ему не то за его легкий нрав и безупречное понимание того, что есть зло, а что, наоборот, добро, не то за его жалостливое отношение ко всем сирым и убогим, а может, и еще за какие-нибудь подвиги, о которых мы ничего не знаем и знать не можем.

Была осень, и отец Фалафель, слегка поддавши только что в своей кафешке, с легкой душой возвращался в келейку, которую он делил с отцом Корнилием, коего, к счастью, в этот вечер не было на месте. Отперев дверь, он уже было собрался включить свет, как вдруг чей-то необыкновенно приятный голос сказал на другом конце келии: «А вот света включать не надо».

Голос и в самом деле был приятный, нежный, какой-то весенний, такой, словно под окном келии вдруг распустилась старая яблоня или вишня, наполнив весь хозяйственный двор небывало-сладким ароматом. К тому же этот голос был женский, что, конечно, придавало ему дополнительную прелесть, хотя и недопустимую в стенах мужского монастыря.

«Это почему же такое, не включать?» – сказал отец Фалафель, не зная, что вообще следует говорить в таком вот

странном случае, как этот.

«Потому», – отрезал голос, давая увидеть медленно появляющимся к сумраку глазам чью-то фигуру, стоящую у окна. Фигура была явно женская, что сразу навело отца Фалафеля на всякого рода подозрения, с которыми не всякий монах был бы в состоянии справиться.

«Тут так ходить не положено, – сказал он, всматриваясь в едва различимую в темноте фигуру. – Это все-таки монастырь, а не театр. Что, как наместник пойдет с проверкой?.. Да и вообще...»

«А ты кто? – спросил голос слегка насмешливо, словно он на самом деле не хотел огорчать отца Фалафеля, а если и делал это, то делал только в воспитательных целях. – Ты монах или подушка? Ты Бога бойся, а не наместника вашего, который уже позабыл, наверное, какой рукой креститься надо».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.